

А. Емельянов-Коханский



*Московская
Жана*

ТЕМНЫЕ СПРАСКИ



SALAMANDRA P.V.V.

**Александр
ЕМЕЛЬЯНОВ-КОХАНСКИЙ**

МОСКОВСКАЯ НАНА

Роман в трех частях

Salamandra P.V.V.

Емельянов-Коханский А. Н.

Московская Нана: Роман в трех частях. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 154 с. — (Темные страсти).

Гимназистка выпускного класса Клавдия Льговская, героиня книги «первого русского декадента», поэта и беллетриста А. Н. Емельянова-Коханского (1871-1936), проходит путь от чувственной любовницы вдохновенного молодого художника до известнейшей в Москве дамы полусвета, обительницы борделя, уличной проститутки и пациентки венерической клиники. Историю ее падения автор сопровождает злобными зарисовками «типов» литературной богемы и московских злачных мест.

Роман «Московская Нана» переиздается впервые по первому, запрещенному цензурой изданию 1902 г.

МОСКОВСКАЯ НАНА

.
Безумно-горячая негa —
Услада бессмертных богов —
И тело, подобие снега,
Служили металлу врагов...
.

Автор

Часть первая

«НЕРВНАЯ» ДЕВОЧКА

По просторной, хорошо и со вкусом убранной комнате ходила плотная, среднего роста девушка, одетая в форменное гимназическое платье.

Смеркалось. Небо, покрытое причудливыми, кровавого цвета облаками, — последним дыханием уже закатившегося солнца, — бросало свой полуфантастический отблеск в окна и еле-еле освещало как ходящую девушку, так и другую, сидящую фигуру — ее мать.

— Ах, мамыши, ах, папаши, не томите дочек ваших! За-муж, за-муж поскорей выдавайте дочерей! — пела вполголоса девушка довольно густым и приятным контральто.

— Клавдия! как тебе не стыдно, — заметила ей мать. — Ты бы лучше занялась уроками... Завтра опять получишь скверный балл по математике... Вспомни, ты в седьмом классе... Идет последняя четверть!.. Скоро май месяц на дворе...

— Да, май... Весна, — ответила девушка капризным голосом. — Грудь ласки жаждет... Дайте, дайте любви... Не говорите вы, пожалуйста, о глупой математике... Не кончу курс — не беда! Замуж выйду. Я ведь не урод и не синий чулок какой-нибудь и не бесприданница! Могу жениха по своему вкусу купить. «И буду с ним я наслаждаться, — запела вновь девушка, — и мир земной, мир скорби и забот, покажется нам раем...» Поживем, пока молоды... Математика от нас не уйдет. Ах, папаши, ах, мамыши, не томите дочек ваших...

— Господи, что мне с тобой делать?! — воскликнула с сокрушением мать. — Кто скажет по твоим речам, что тебе еще 19-ти лет нет? Ты не на девушку, а на какого-то солдата похожа.

— И на гвардейского, — добавила дочь. — Понятно, я не институтка какая-нибудь, а вольная птица-гимназистка. Мы не обожаем, а уважаем и рождаем... У нас недавно одну гимназистку выключили за то, что у нее талия пополнела

и не в препорцию стала. Какая несправедливость! Студентам позволяют жениться, а нам нельзя. Мы чисто не люди! Кровь у нас еще горячее... Математики и грамматики ее не охлаждают. Невинность — отсталое понятие. Мы все невинны от рождения. Как хорошо, как умно было бы, если бы нам показывали в гимназии на практике, как кормить своих собственных детей. А то учат какой-то гили!.. Долго ли гимназию окрестить в пансион для благородных дам... То ли дело на акушерских курсах — там для практики с красивенькими студентками на родах присутствуешь, это так чудесно, что поневоле сама подумаешь: не поступить ли мне по примеру рожениц. Как наивен князь Мещерский, громя совместные, общие классы мальчиков и девочек!..

— Клавдия, Клавдия, перестань! Ты положительно хочешь свести меня с ума. Какие речи! Вот что значит все без разбора читать, да на вечеринки студенческие ходить... Ты какая-то куртизанка по взглядам!

— Именно, мамаша, куртизанка. Что ж тут дурного? Ничего. Вот, со мной рядом в классе Красавина сидит, дочь известной опереточной артистки. Так она на уроках, внизу, на коленях, все «Гигиену медового месяца» читает. Любопытная и поучительная книжка. Ей «Месяц» сам автор, какой-то писака Сергов, подарил. Шила в мешке не утаишь. В гимназии, что очень хорошо, девушки всех сословий учатся. У нас в классе, например, первая ученица Спотыкалкина; так ее отец, говорят, тайный «веселый» дом содержит. Обязательно, если мне в любви не повезет и я все свое состояние промотаю, к ней за протекцией обращусь...

— Перестань, перестань, — плачущим голосом проговорила мать. — Что ты, шутишь или правду говоришь?.. В кого ты уродилась, скажи?! Возможно ли так с родной матерью говорить! Брат у тебя солидный ученый, а ты...

— Да, солидный, — воскликнула девушка сердито. — Но и родился он тогда, когда вы с папой солидно жили. Все говорят, что я очень умна и развита. Я теорию наследственности знаю... Романы Золя — яркая иллюстрация. Нашлись люди, меня посвятили в тайну моего рождения... Меня по батюшке величают Михайловна, а на деле я, может быть,

Сосипатровна или еще помудренее... Отца вы в могилу во-
гнали своим поведением... Так молчите... В кого мне «ин-
ституткой-то» быть? Я вся — страсть, вся — порок! Иначе и
быть не может... Вы были развратницей, и ваш любовник-
красавец — мой отец и портрет — тоже, думаю, хорош был:
чужую жену любил и пользовался деньгами ее законного
мужа!.. Не смейте меня попрекать, что у меня нет чистого
сердца и никакой любви к вам. Достаточно того, что вы жи-
вете до сих пор на средства моего покойного отца. Отца!..
Ха-ха-ха! И я должна вам, как опекунше, до совершенно-
летия повиноваться, хотя *отец* оставил все мне, несмотря
на то, что угадывал, какая я ему дочь!.. Я знаю, что и те-
перь у вас есть *кое-кто*... Но я вам прощаю и не мешаю...
Вы — женщина сравнительно молодая... Природа сильна...
Я по себе знаю... Я не посмотрю ни на какие математики, ес-
ли кто мне понравится, и попробуйте мне только помешать...
Я не виновата, что кровь у меня сильнее моего разума и
стыда...

— Ты права, Клавдия! — с отчаяньем воскликнула мать.
— Но как ты жестока! Как ты язвишь меня! Как бы то ни бы-
ло, но я тебе все-таки мать! Ты всю свою необузданность
взваливаешь на меня, но, может быть, и мои родители, от
которых я осталась пятилетним ребенком, тоже были не
без греха... Может быть, наследственность и у меня... Ты так
бесцеремонно говоришь *о моих*... Но прости меня... Про-
сти, что я, как ты поясняешь, живу на твои средства. Но не
забудь, что я тоже работаю, все хозяйство на мне... Потом, я
охраняю твои капиталы... Мы живем только на проценты.
Я даже для экономии одну комнату сдаю...

И мать Клавдии тихо зарыдала.

В это время в комнату вошла тетка девушки, старшая
сестра ее покойного отца. Она без ума любила свою племян-
ницу: вынуждала ее и теперь очень тревожилась за ее су-
дбу, слыша про поступки и вольное поведение девушки.
Старушка во всем винила ее мать, которую инстинктивно
ненавидела за брата, и свою ненависть передала племян-
нице, неосторожно рассказывая дочери про проделки ее ма-
тери. Как всякий добрый человек, она спохватилась, но бы-

ло уже поздно. Зерно ненависти упало на подходящую почву и расцвело роскошным цветом...

Вот и теперь, слыша такой необыкновенный разговор, она поспешила прекратить его.

— Будет вам шуметь, — укоризненно сказала она. — Что вы делите, удивляюсь? На весь дом раскричались. Услышит ваши разговоры новый жилец, не поймет: куда попал? Нужно огонь зажечь. При свете вам стыднее будет.

И старушка зажгла лампу-молнию.

Мать Клавдии с нескрываемой неприязнью посмотрела на старуху. Если бы дочь не любила так тетку, она *выяснила бы* ей сейчас, кто виновник такого оскорбительного отношения дочери к родной матери.

«Придется терпеть молча, — решила она, — чтобы не раздувать искры в пожар... Проклятая старуха!..»

На глазах ее появились горькие слезы обиды и злобы, и они потекли по щекам ее полного, хорошо сохранившегося и привлекательного лица.

Ольге Константиновне Льговской нельзя было дать более 30 лет. Но, кто знал, что у нее сын уже кончил университет и дочь — невеста, положительно удивлялся ее свежести. У нее было очень много общего с дочерью: тот же рост, та же дородность, только не было ее злой и необыкновенной красоты...

— Тетя, вы говорите, — спросила Клавдия, — новый жилец? Интересно, кто такой! Наверняка, опять какой-нибудь теленок из мелких чиновников! — И она красноречиво посмотрела на мать.

— Нет, Клаша! Говорит, что художник, в училище живописи и ваяния учился и притом в газетах пишет...

— Слава Богу, — воскликнула радостно девушка, — будет хоть с кем живое слово сказать. А хорош он собой?

— Вот у кого нашла спросить, — засмеялась старуха, — ты ведь знаешь, я слепая совсем!

— Ну хорошо, сами завтра посмотрим! — и при этих словах Клавдия села.

Щеки ее покраснелись. Она то и дело прижимала в какой-то истоме руки к высокой груди, которая свободно би-

лась в просторном бескорсетном платье, как будто желая оттуда вылиться.

Девушка была чудно хороша. Она принадлежала к тем удивительным созданиям, на выработку которых предыдущие поколения потратили много энергии, пока они не дошли до высшей точки проявления красоты — красоты Клавдии. Ее чудные белокурые волосы были такого нежного цвета, что положительно нельзя было поверить, что может быть такое гармоническое сочетание волос и огромных черных блестящих глаз! Нежный, молочный румянец, тонкие брови и поразительно длинные ресницы дополняли остальное. Ее можно было бы назвать идеально-прекрасной, если бы не животный, чувственный и резко очерченный рот и слегка вздернутый, с тонкими «нервными» ноздрями нос. Особенно бросались в глаза эти недостатки, когда Клавдия улыбалась, показывая ряд крупных, редко поставленных, плотоядных зубов.

— Я женщина, слишком женщина! — казалось, так и говорила ее улыбка. — Если я захочу, каждый побежит за мной, хотя я и подарю ему не ласки, не трепет своего горячего тела, а гибель и смерть...

II

НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ У «БЕДНЫХ ОВЕЧЕК»

Шел третий час. Только что начался «пятый» урок, урок математики в седьмом классе гимназии.

В казарменной по виду комнате училось хитроумным вычислениям двадцать три взрослых девицы, не считая хранительницы их невинности от некорректных наставников, классной дамы, восседавшей, подобно китайскому идолу, неподвижно по правую сторону учительской кафедры.

У доски, с мелом в руках, стояла любимая подруга Клавдии, Надя Мушкина, решая какую-то задачу. Хорошенькая головка гимназистки была забита решением каких-то других задач, а не математических, и она умоляюще смотрела на своих подруг: «Подскажите, мол!»

Учитель математики был хотя и молодой, но сухой и какой-то полинялый господин, и на хорошенькие личики своих взрослых учениц он мало обращал внимания и немилосердно говорил им «письменно» комплименты в виде единиц, двоек. Воспитанницы поэтому его терпеть не могли и смеялись над его безжизненным педантизмом, называя математика «вороной-отшельницей». Даже красавица Клавдия была не в силах пробудить в нем жизнь, а на что она была мастерица покорять сердца других учителей.

— Вы опять-с не можете решить, — сказал глухим голосом математик, — такой пустой задачи!

Надя Мушкина покраснела.

— Я попрошу вас, — продолжал учитель, — перевернуть доску и зайти за нее... Вы меня задерживаете... Я буду спрашивать другую, пока вы будете соображать.

Обрадованная Мушкина скоро, как могла, развинтила доску, повернула ее и стала решать или, вернее, ждать от подруг записки с подробным решением. Ждать пришлось недолго. Небольшой комочек бумажки, брошенный какой-то подругой, лежал уже у ее ног. Мушкина стала с него списывать...

Между тем, учителю спросить другую воспитанницу не удалось. Поднялась страшная кутерьма, и произвела ее классная дама, отнимавшая у воспитанницы Красавиной, сидящей рядом с Клавдией Льговской, книжку «Гигиена медового месяца», которую Красавина под шумок изучала. Ее улыбки, которыми она обменивалась с Клавдией при чтении особо пикантных местечек, ее погубили: красная от гнева и борьбы, классная дама победоносно держала в руках «оригинальный учебник математики».

По окончании сражения педант-учитель, даже не поинтересовавшись узнать, в чем дело, стал смотреть на решение задачи Мушкиной.

Но Надю, оказывается, подвели. Переписанная ею машинально, во время интересной стычки, записка была насмешкой над ней ее двоюродной сестры, Полусовой. Она нарочно, чтоб досадить ей, послала Наде чепуху. Математик хмурился, проглядывая это «решение». Надя только теперь поняла все коварство сестрицы. Учитель предупредительно попросил ее сесть и поставил несчастной девушке единицу.

Педант вызвал новую жертву, Клавдию, но в это время пробил звонок и спас красавицу из сетей математика.

Надя сейчас же передала Клавдии, что устроила с ней Полусова.

— Погоди, я ей задам, — сказала Льговская. — Теперь некогда. Надо выручать Красавину и ее «Медовый месяц»!

Но классная дама была неумолима. Она тотчас же хотела наградить «Медовым месяцем» начальницу гимназии, и только просьбы всего класса смягчили ее до решения: «Вручить лично “Медовый месяц” опереточной актрисе — мамаше Красавиной». Решение было вполне радикально: с позволения мамы и вручил дочке «Медовый месяц» собственноручно сочинитель, с которым у артистки были очень короткие отношения.

После окончания инцидента, обильно увлажненного слезами Красавиной, Клавдия подошла к Полусовой. Между ними произошло крупное объяснение.

— Вы говорите, что я выражаюсь, — закричала Льговская, — как содержанка! Хорошо! Содержанкой не всякая может

быть, для этого нужно иметь красоту и желание расточать себя, а не крохи сирот, как это сделали ваши родители!

— Мои родители! — воскликнула с холодным и пренебрежительным удивлением Полусова, худая и некрасивая девушка. — Вы с ума, Льговская, сошли!

— Не с ума сошла. Я говорю истину! — еще громче закричала Клавдия. — Ваши родители опекли Надю Мушкину, ее сестер и братьев. Прикарманили ее миллионное состояние. Отец ее построил церковь, а дети его принуждены питаться крохами со стола обокравших их родственников, почитать эти крохи за благодеяния или же просить на паперти церкви, выстроенной их родителем!..

— Вы, Льговская, настоящий Плевако, — с тем же невозмутимым хладнокровием ответила ей Полусова. — Хорошо, я об этом скажу папà... надеюсь, вам и Наде это даром не пройдет, в особенности Наде...

— Не беспокойтесь, Надю я от вас спасу, — сказала, сверкая глазами, Клавдия. — Я ей еще денег дам, как только она будет совершеннолетней, для возбуждения против вас дела. Богаты вы, но теперешний суд не купишь! Придется вашему папаше за «опеку» сирот отвечать!..

III

ЖИЛЕЦ – ПОЭТ И ХУДОЖНИК

Николай Павлович Смельский, новый жилец Льговских, был в последнем классе училища живописи и ваяния. Сын бедного учителя рисования в одном из глухих городков Саратовской губернии, он, по окончании 4-классной прогимназии, почти мальчиком прибыл в Москву. Средств у него не было никаких. Отец не благословлял его поездку в столицу, а всеми силами старался пристроить его писцом в какую-нибудь канцелярию, где можно было бы, получая гроши, кормиться и помогать громадной, бившейся, как рыба об лед, семье. Но развитой не по летам мальчик не хотел и слышать советов отца. Он всеми силами стремился в «высь», и эта высь занесла его в Москву. Коля Смельский безусловно бы погиб в чужом, громадном городе, если бы не его счастливая наружность, а также и необыкновенные способности. Он сразу, что называется, попал в точку, заинтересовав одного знаменитого художника сначала как «натура», а потом уже как хорошо умеющий рисовать. Массу эскизов набросала с него «знаменитость», прежде чем пристроить его в училище. Коля очень хорошо учился и все свободное время посвящал чтению. Из «штудирования» газет он скоро понял, что пишут в них такие грамотеи, которых он очень легко может заткнуть за пояс, в особенности в своей сфере, в художественной критике. Он попробовал свои силы, и написанная им статья по поводу последней выставки была с удовольствием помещена в одной из бойких газет, и Смельского даже попросили быть ее постоянным сотрудником. С самого детства Коля писал потихоньку стихи. Обласканный редактором газеты, он попытал снова запрячь Пегаса и составить злободневные стишки, и что же: стихи очень понравились, и Смельский стал ежедневно заполнять своими рифмами газетный лист! Таким образом, заработок, небольшой, но все же заработок, позволил ему отказаться от помощи «знаменитости» и начать самостоятельную жизнь.

Смельский был скромный молодой человек. Ему было двадцать четыре года, но он еще не знал физически ни одной женщины. Его целомудрие было предметом постоянных насмешек товарищей, бродивших по притонам, посещавших заведение г. Декольте. С двумя своими товарищами Смельский перессорился из-за «женского вопроса» и переехал от них ночью в первый попавшийся номер. Ему в этот вечер готовили полное падение, так как товарищи нарочно пригласили к себе трех «дам», причем ассигнованная на его долю «красавица» была действительно привлекательна и крайне нахальна. Она даже почти разделась, чтоб соблазнить прекрасного Иосифа, но он благополучно, собрав свои пожитки, удрал.

«Дама» пустила вдогонку Смельскому крепкое слово и попросила послать за другим «умным». «Умный» не заставил себя долго ждать и дорого поплатился: через несколько дней после ночи наслаждений, он опасно заболел.

Смельский, узнав про это, еще более убедился в «верности» своего целомудрия. Будучи очень красивым юношей, он не раз подвергался натискам женской нации, но всегда благополучно. Женщины, как и товарищи, близко знавшие его, удивлялись, как можно с такой страстной наружностью, да еще специализировавшись в рисовании исключительно голого женского тела, чуждаться прелестей физической любви!

— Просто он притворяется, — решали все. — В тихом омуте черти водятся. Обязательно какая-нибудь прекрасная натурщица «живет» с ним.

Но все жестоко ошибались. Он любил тело как красоту, как божество и боялся осквернить его, войдя с ним в более реальное сношение.

Иногда он положительно изнывал от страсти, глядя на роскошные формы какой-либо натурщицы. Казалось, и хозяйка этих форм чувствовала эту страсть красавца-художника и не прочь была отдаться ему... Но проходили мгновения, художественная страсть одерживала победу над страстью земною, и Смельский снова обращался в холодный мрамор...

Весь излишек заработанных денег Смельский употреблял на покупку художественных изданий и на более красивую «натуру». Жил он всегда очень скромно, в одной большой, светлой комнате, и работал, работал.

Комнату у Льговских Смельский снял не сразу. Масляные глаза матери Клавдии не понравились ему.

«Еще вздумает ухаживать за мной, — предположил художник. — Знаю я подобного сорта женщин!»

С такими мыслями он вошел вместе с Ольгой Константиновой в гостиную и, увидав большой последний портрет Клавдии, остолбенел: красота девушки поразила его.

— Настоящая вакханка, — подумал он про себя. — Где я ее видел?.. Вот если бы она согласилась позировать для моей картины! Золотая медаль была бы обеспечена...

— Скажите, кто это? — спросил Льговскую Смельский. — Извините за нескромный вопрос, но я — художник...

— Моя дочь Клавдия, гимназистка, — бросила небрежно Льговская. — Очень испорченная девчонка! — добавила она кокетливо.

Смельскому очень не понравилась такая откровенность.

«Сама-то ты испорченная! — подумал про себя художник. — Молодится, сразу видно!..»

— Тридцать рублей я согласен заплатить за комнату, — сказал он. — Комната светлая, в ней очень удобно работать... На дачу я не езжу и прошу вас определенно сказать мне: уезжаете ли вы из Москвы и оставляете ли за собой квартиру?

— Никогда не переселяемся на дачи, — ответила Ольга Константиновна. — Рядом с нами Екатерининский парк. К чему! Клавдия московских дач не любит. Ей давайте Кавказ или Крым. Вот, она теперь в Алжир с богатой подругой собирается. Просто беда! Мы же уже пять лет никуда с этой квартиры не трогаемся.

— Отлично, — воскликнул Смельский. — Я ваш жилец. Прошу из комнаты все вынести, за исключением дивана. У меня своя «художественная» обстановка, — добавил он, смеясь. — Я вечером к вам перееду. Пока до свиданья.

Подавая руку Льговской, художник неприятно поморщился: слишком крепко и долго жала ее его новая квартирная хозяйка.

IV

МАТЬ КЛАВДИИ

После «стычки» с дочерью Ольга Константиновна поспешно оделась и вышла из дома. Придя в Екатерининский парк, Льговская села на лавочку в кругу и задумалась.

— Клавдия права, — сказала она про себя. — Наследственность — все. Вот мне пора, давно пора остепениться! Мне скоро сорок лет, а я все жажду любви и какой любви: красивых мальчишек, которые вытягивают из меня деньги и смеются надо мной! Все это я прекрасно сознаю и проклиная себя и... не могу остепениться!.. Ни сиротство, ни горе, ни нужда не изменили меня... Пора бы уgomониться: смешно сказать, я женщиной стала в 15 лет, а потом началось, началось... Муж мне попался хороший, даже не попрекнул меня прошлым, а может быть, и не понял меня... Он с первой со мной вступил в связь, до меня он женщин не знал... Боже, как он любил меня и своего первого сына! Но мне было мало его любви, я изменяла ему... Раз застал он меня на месте преступления. Он ничего не сказал мне и только перестал со мной жить как муж, начал пьянствовать и пропадать по ночам. Тогда я вовсе распустилась, и плодом моей распущенности была Клавдия... Несчастный мой муж и рождение ребенка простил мне, и стал его любить больше, чем своего сына. Он даже возненавидел его, отослал в Петербург в закрытое учебное заведение и до самой смерти не вспоминал про него. Клавдию же он продолжал любить какою-то болезненной любовью: называл ее всеми ласкательными именами и даже «родной» дочкой и при этом так печально улыбался... Я раз не выдержала, хотела на коленях вымолить у него прощение, но он так сурово и *мертво* посмотрел на меня, что я опомнилась и, рыдая, ушла в свою комнату. Скоро муж умер. Единственной его мстью по отношению ко мне было то, что ни мне, ни сыну он не оставил ни гроша. Все завещал Клавдии, обязав меня, как опе-

куншу, жить на проценты и давать на них образование детям. Прошли долгие десять лет. Клавдия стала невестой, сын вышел в люди, одна только я осталась такой же искальницей приключений. Видно, маленькая собачка — до старости щенок. Вот и теперь: угораздило же меня спутаться со своим бывшим жильцом, каким-то писцом. Спасибо, что уехал без скандала... Я ему обещала сегодня сюда прийти... Он, конечно, будет просить у меня денег... Мы с ним кое-куда поедem... Что делать, не могу! А тут еще новый жилец, — такой красавец, — раздражил. О, если бы писаришка был таким!.. Я отдала бы ему часть Клавдинова состояния, подлог сделала бы, а отдала. Но он на меня, кажется, смотреть не хочет. Однако, я все же попробую, а пока — на безрыбье и рак рыба.

И Ольга Константиновна поднялась навстречу приближавшемуся к ней «писарьку».

ПОКЛОНЕНИЕ КРАСОТЕ

— Я сегодня, тетя, — сказала Клавдия, нежась на кровати, — в гимназию не пойду. Мне что-то нездоровится...

— Да, нездоровится, — заметила недоверчиво тетка, — фокусничаешь все. Какие-нибудь новости придумала! Эх, Клаша, Клаша, несдобровать тебе: уж больно ты востра.

— А что же, по вашему мнению, размазней быть? В наш век тихони прозябают, а не живут. То ли дело я: все превзошла и решила, что на жизнь надо смотреть с точки зрения «велосипеда и тарарабумбии», как я где-то вычитала! Мной только не исследована на практике любовь — объекта подходящего не попадалось. Если найду, конечно, задую в объятиях; я не у папуасов живу — это там невинность девушек в клетках охраняют: климат очень к объятиям с первым встречным-поперечным располагает... Так-то, тетенька!

— Ах, ты воструха, воструха! — качает в ответ укоризненно старуха головой. — Веселись, смейся, но только смотри, не обожгись...

— Не только не боюсь обжечься, но и совсем превратиться в пепел на груди «объекта»... «Все мы жаждем любви — это наша святыня!» — запела Клавдия.

Старуха, замахав руками, вышла из общей с племянницей спальни и удалилась хлопотать по хозяйству.

«Сухарь! Старая дева! — подумала про нее молодая девушка. — И зачем, спрашивается, вы жили? Неужели для того, чтобы, воздерживаясь от грязной “мужчинской” любви, дойти до любви к мопсу! Холить, спать с ним, вычесывать злодеек-блох и надоедать ему своими ласками. Фи! какой ужас... Такая жизнь хуже смерти!»

И Клавдия при этой мысли соскочила в одной рубашке с кровати и подбежала к зеркалу...

— Посмотрим, — воскликнула она вслух, любуясь в зеркало на свое томное ото сна лицо, полуобнаженную пыш-

ную грудь, — кто посмеет устоять передо мной! Только бы найти, кому *подарить* себя! О, если бы «обрести» его сейчас, сию минуту, когда я так молода, здорова, так жить хочу! Я все, все бы ему отдала, сама бы заставила *взять* меня! Задушила бы в своих, не испытывавших страсти, объятиях...

— Барышня! — перебила своим вопросом размышления Клавдии вошедшая в спальню молоденькая горничная. — Прикажете изготовить ванну?

— Конечно, Маша, — сказала молодая девушка и повернула к вошедшей свое возбужденное, раскрасневшееся лицо. — Кстати, скажи, кто такой наш новый жилец?

— Не знаю-с. Говорят, я художник. А должно, не правда-с — кто-нибудь другие. Всю комнату бесстыжими бабами увешали. Все до одной голые-с. Так что стыдно и женщине смотреть-с, а им, знать, ничего.

Клавдия засмеялась.

— А уж сами с лица, — продолжала тараторить Маша, — настоящие ангелы-с. И добрые такие, ласковые. Просто чудно-с!

— У тебя все мужчины — ангелы! — заметила Клавдия горничной. — А чудного тут ничего нет. Жилец действительно художник и голых женщин рисует. Это такая специальность. Ну, что тебе объяснять, ты все равно не поймешь! И женщины есть такие, которые себе хлеб этим зарабатывают. С них художники рисуют...

— Ужели с голых-с? — удивилась горничная. — Срамота какая!

— Какая ты глупая! Никакой срамоты нет. Это красота... Попроси вот меня кто-нибудь для картины донага раздеться, я с удовольствием соглашусь.

— Ах, что вы, барышня, что вы!

— Ну, молчи, беспонятная! Иди лучше ванну готовить.

Сидя в большой мраморной ванне, Клавдия как-то инстинктивно тщательно мыла свое роскошное, упругое, мо-

лодое тело; она как будто действительно его для кого-то готовила. Идя в ванну, она столкнулась в дверях со Смельским и была поражена его «ангельской», как выразилась горничная, красотой. Клавдия обязательно бы сама познакомилась с ним, если бы она не была не совсем одета. Вежливый художник, увидев в дезабилье какую-то молодую девушку, поспешил скрыться. Он совершенно не разглядел Клавдии. Она была счастливее... Ей страстно понравилось нежное, безбородое лицо Смельского, дышащее такою свежестью и наивностью, его черные, вьющиеся волосы, его огромные, почти женские, волоокие светлые глаза.

— Он настоящая девчонка, — подумала Клавдия, плескаясь в ванне. — Но я сделаю из него мужчину. Господи, как он хорош! Наконец, мои желания сбылись: *объект* найден! Какие только у него зубы, какой голос? О, если хорошие! Я не только соглашусь раздеться для его новой картины, но даже для него самого... Довольно я натерпелась со своей невинностью. Минута наслаждения настоящего, райского, говорит Достоевский, есть все... Ради нее стоит отдать даже жизнь, не только что какую-то, почитаемую фарисеями, невинность... Он будет мой! Хотя я и не извела на деле любви, но страсть заставит меня быть опытной, и я даже научу любить его — мужчину! Ведь трудно же предположить, чтобы он *не знал* женщин; теперь даже все мальчишки избаловались...

И, вся — порыв, вся — сладострастье, вся — необузданный наследственный порок, она стала бить себя по трепещущей груди, судорожно, до боли, сжимать свои, разгоряченные теплой ванной, руки и ноги. Румянец залил ее щеки, она в изнеможении положила свою голову на край ванны, закрыла глаза и так долго, долго оставалась без движения. Казалось, она спала...

— Маша, ты сказала, — смеясь, говорила Клавдия, подходя к комнате художника, — жилец ушел.

— Да, только сейчас...

Клавдия порывисто отворила комнату Смельского и вошла в нее... Осмотрев беглым взглядом всю обстановку художника, она осталась очень недовольна всеми «голыми ра-

ботами» его. И, сравнивая себя со всеми обнаженными женщинами, висящими по стенам и стоящими по мольбертам, она еще сильнее убеждалась в своем превосходстве...

«Не стоит смотреть, — мысленно проговорила молодая девушка. — Неужели у такого красавца не нашлось более “талантливое” тела?.. Удивляюсь! А вот, кажется, и сам он изображен, почти без тканей, на картине: “Любимый раб Мессалины”. Какой восторг!.. У Мессалины губа была не дура! Какой профиль! Грудь! Мускулы!»

— О, я с ума сойду, — закричала она вне себя, — если я сегодня не увижу его!

Рассматривая обстановку художника, Клавдия и не заметила, что дверь комнаты то отворится, то притворится.

Оказывается, Смельский возвратился зачем-то домой. Удивленный, что в его комнате кто-то есть, он слегка полупотворил дверь и, увидев молодую девушку, восхищающуюся «эскизом» с него одной знаменитости, не смел войти в свою «хату». Как художник, он был поражен внешностью «бойкой» девушки.

— В натуре она еще лучше, — прошептал про себя юноша, — вакханка, настоящая вакханка! О, что бы я дал, если бы она согласилась позировать передо мной! Но нет, разве это возможно!

В это время Клавдия, полюбовавшись на изображение «красавца», подошла к двери и, отворив ее, натолкнулась на Смельского.

— Простите за мое любопытство, — просто сказала художнику Клавдия, — передо мной, кажется, сам хозяин? Позвольте познакомиться. Надеюсь, вы на меня не рассердились?

— Ах, что вы, что вы! — воскликнул сконфуженный Смельский. — Я очень рад...

— Ну, рады, не рады, — другой вопрос! — промолвила Клавдия и крепко, по-мужски, пожала ему руку. — А все-таки я и сейчас не уйду от вас и буду восхищаться живым рабом Мессалины.

И молодая девушка с вызывающей улыбкой посмотрела на художника.

Он еще более сконфузился от этого вольного обращения и не знал, что сказать ей в ответ.

— Какой вы тихоня, — продолжала со смехом Клавдия. — Занимаетесь такими «женскими» сюжетами и в десять раз скромней меня. Меня — что! Я сорванец, скромнее — красной девицы. Однако, ваши картинки я не одобряю: ни одной хорошенькой. Неужели у вас нет красивых женщин?

— Есть, — ответил тихо Смельский. — Но они ни за что не согласятся...

— Раздеться, — подсказала Клавдия, — какие глупости. Есть что скрывать! Хотите, я буду вашей натурой?

«Она шутит», — подумал художник.

— Что же, не хотите?! — воскликнула Клавдия. — Иль я не гожусь?!..

И страстно, тяжело дыша, она вплотную подошла к юноше.

— Вы смеетесь! — промолвил он.

— Я никогда не смеюсь, — сказала громко девушка. — Хотите, я сейчас разденусь... Осмотрите меня художественным взглядом! Что вы удивляетесь... смотрите так дико?.. Уж такая откровенная родилась. Извините!

— Я не смею об этом вас просить... Но еще вчера, когда нанимал у вас комнату, я увидал ваш портрет и...

— И что?.. Влюбились?..

— Да, как художник. Такую «вакханку» для моей картины трудно отыскать. Я мечтал познакомиться с вами и упросить вас впоследствии...

— Как вы пышно выражаетесь: «впоследствии». Я и сейчас готова... Хотите, я разденусь?..

«Не сумасшедшая ли она?» — подумал художник, увидав, что, действительно, девушка, расстегнув корсаж у платья, стала снимать его...

— Что, не хороша? — промолвила Клавдия и легла совсем обнаженная на диван. — Заприте свою дверь, может кто-нибудь войти. А вас я не стыжусь: вы художник! Ну, рисуйте! Что же вы медлите?

Смельский, как загипнотизированный, застыл на месте. Такого красивого тела, такого страстного лица он никогда

не видел. Стихийное плотское вожделение одержало победу над чистым стремлением к чистому искусству, и Смельский готов был броситься, убить, растерзать эту «красоту», насильно завладеть ею с первым пылом неизведанной еще страсти...

Клавдия прекрасно, по инстинкту, понимала его борьбу. Его искаженное от страсти лицо страшно возбуждало ее. Она совершенно обессилела, видя этого красивого как бога юношу, пожирающего ее безумными, очарованными глазами... Стоило только Смельскому быть смелее, и Клавдия без колебания отдалась бы ему, ему, которого она только что увидала...

Но юноша был так целомудрен, так робок, и это только спасло Клавдию...

Видя, что молодой человек в изнеможении опустился на кресло и скрыл свое пылающее, прекрасное лицо руками, Клавдия опомнилась и проговорила:

— Видно, первый блин — комом... Вы, кажется, сегодня не можете рисовать... Я буду одеваться... До следующего раза...

VI

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ

— Какая я бешеная, — говорила про себя Клавдия, идя в свою комнату. — Что он обо мне подумает? Но что делать, если в моих жилах течет такая страшная кровь... Милый, какой он простой, тихий! Его голос так и зовет куда-то... Он, очевидно, очень неглупый и развитой! Я с ним проговорила несколько часов... Они показались мне минутами... Понравилась ли я ему? Думаю, что да. Он просил меня, если можно, после обеда позировать. Я обязательно исполню его просьбу! Дни моей невинности, — и при этом она улыбнулась, — сочтены... Сегодня или никогда!..

Клавдия совсем почти не прикоснулась ко вкусному обеду и только усердно пила красное вино.

— Не много ли будет, деточка? — заметила ей тетка. — Ты и так что-то покраснелась. Должно быть, правда нездорова.

— Клавдии всегда, — сказала мать, — нездоровится, раз идет вопрос о деле! Вот с новым жильцом она может болтать, сколько угодно. Студенты достаточно «развили» ее...

Молодая девушка злобно посмотрела на мать.

«Нужно быть осторожней, — решила она. — Уже любезная матушка кое-что знает. Пусть ее... Но я компрометирую его, а потом, что за охота «популизировать» свои чувства?! Прежде всего тайна... В ней есть какая-то неотразимая прелесть...

— Ты уже успела, Клаша, с жильцом познакомиться? — удивленно спросила девушку тетка.

— Еще бы! — заметила ядовито мать. — Целое утро с ним тараторила... Как язык не заболел ...

— Перестаньте, пожалуйста, — вспылила Клавдия, — беспокоиться о моем здоровье! Сколько раз просила я вас забыть о моем существовании... Пообедать даже не дадите...

Проговорив эту «дерзость», молодая девушка встала из-за стола и ушла в свою комнату.

Тетка что-то хотела сказать в свое и Ольги Константиновны оправдание, но Клавдия так на нее взглянула, что старушка, боясь начинавшейся уже обычной неприятной сцены, замолчала.

— Я к вашим услугам, — говорила молодая девушка, входя к Смельскому. — Прикажете раздеться, господин художник?..

— Пожалуйста, я вас ждал...

И Смельский, чтоб не выдать себя, свою непреодолимую, молниеносную страсть к этой чудной, странной девушке, стал готовить или делать вид, что готовит полотно. Долголетнее воздержание, целомудрие еще больше взвинчивали его физическое влечение к этой красавице. Из ее искреннего разговора, сблизившего их моментально между собой, он понял, что Клавдия непосредственная, порывистая натура и что она живет только одним чувством, не думая о последствиях. Во всех ее речах, в тоне ее голоса он заметил, что он безумно ей понравился.

— Я готова, — сказала между тем насмешливо молодая девушка и, совершенно обнаженная, благоуханная, подошла к Смельскому.

— Я сейчас придам вам позу, — дрожащим голосом произнес художник, — я сейчас... Но, нет, я не могу... Уйдите, пожалуйста... Я и себя, и вас погублю, — прибавил он, задыхаясь, и протянул руки к Клавдии.

Она отступила от него к дивану и прошептала:

— Погубите, но и полюбите...

— Уйдите, прошу вас! — вновь умоляюще сказал Смельский и, подойдя к девушке, стал осыпать ее тело поцелуями...

— Уйти! Но дайте прежде одеться, голой нельзя, — воскликнула в полузабытьи Клавдия, не уклоняясь от поцелуев юноши.

Ее нетронутое тело инстинктивно чувствовало власть другого девственного тела и не могло сопротивляться потоку безумной страсти.

Ослепленная красотой возбужденного лица, прекрасного лица бога-юноши, она привлекла к себе голову художника и, отвечая на поцелуй Смельского, сладострастно шептала:

— Бери меня, я твоя... Теперь или никогда!..

VII

НОЧЬ НАСЛАЖДЕНИЙ

Клавдия, сама не своя, вернулась в свою девичью спальню. Румянец стыда и неизведанных доселе наслаждений заливал ее лицо. Но обычное спокойствие скоро вернулось к ней.

«Хорошо, нечего сказать, — подумала со смехом она, — прошел мой первый дебют в роли натурщицы! Но что с во-за упало — пропало... Есть о чем сожалеть?! Не сейчас, так когда-нибудь надо. А то, пожалуй, дойдешь до такого состояния, что встречному-поперечному отдашься. Он же красив, как изваянье...»

Однако, как ни утешала себя Клавдия, но какая-то тоска наполняла ее существо и какой-то тайный голос осуждал ее внезапное падение, любовь к человеку, которого она почти не знала и который только очаровал ее, как змея, своею необыкновенною красотою... Невольные слезы раскаянья оросили щеки чистой, но изломанной вконец жизнью и воспитанием девушки.

«Пора перестать слезы крокодиловы лить, — вновь сказала себе Клавдия. — Будь, что будет, а пока нас ждут наслажденья... Я дала ему обещанье прийти ночью, а не подумала, как это сделать... Сейчас семь часов... Скажу своим, что пойду к подруге для совместных занятий и там переночую. Думаю, что никто не заметит, как я шмыгну в его комнату: она достаточно удалена от “наших”. Не будут же они подслушивать у двери. А если и подслушают — мне-то что?.. Я — вольный казак! Ему только неловко... Далее же мы устроим “припадок”...»

Когда Клавдия явилась к художнику, он был занят писанием обычного стихотворного фельетона для газеты. Стихотворство ему давалось легко, но сегодня стихи что-то не вытанцовывались. Душа юноши была преисполнена только что случившимся... Он ощущал это впервые в жизни... Стыд, совесть, — все поглотила эта страшная сила... Перед ним бы-

ла только Клавдия, ее роскошное тело, ее сладострастный взгляд!.. Последствия любви его не тревожили, а между тем, он был честный человек. И в этот, так сказать, момент вступления в новую жизнь изволь писать стихи о беспорядках и грязной воде бань! Поневоле «творчество» не удавалось. А писать нужно обязательно, иначе потеряешь хороший и сравнительно легкий заработок.

— Творю различные глупости, — сказал, обнимая страстно вошедшую Клавдию, Смельский. — Проклятое ремесло!

— Покажи! — воскликнула молодая девушка и сама взяла в руки исписанный стихами длинный листок. — Фи, какая проза! И не стыдно тебе писать такие глупости! Какой ты, однако! Вместо того, чтобы писать обо мне, пишешь сегодня о каких-то банях!..

— Я сказал вам... тебе, — промолвил с горечью юноша, — проклятое ремесло... в такой момент писать пошлости... — и он стал страстно целовать девушку.

— Постой, постой! Ты меня задушишь... Лучше пиши о банях... Я не уйду от тебя... Доканчивай стихи: «Сегодня я про баню в стихах забарабаню»...

— Нет, я не могу, не в силах, когда ты здесь, писать про пошлости!.. Пусть редактор меня костит! Не могу...

— А разве твои глупости так нужны для газеты?

— Стало быть, нужны, если публика требует. Вот, хороших стихов не читают... Пошлости давай...

Мало-помалу Смельский стал горячо говорить о своей борьбе за существование, о тяжелом детстве, о муках злободневного писателя.

Клавдия с интересом слушала эту исповедь талантливого человека, сочувствовала его терзаниям, начиная понимать все мелочи, ужасные мелочи жизни газетных тружеников.

— У меня был товарищ, — говорил, между тем, художник, — милый, способный... Заволокла его журнальная трясина... Он писал уголовные романы и зарабатывал большие деньги, которые сгубили его... И не мудрено: душа алкала настоящего творчества, а он принужден был писать

для улицы ерунду! За последнее время жизни он пил... Придет ко мне пьяный и просит: ради Бога, напиши ему продолжение романа для завтрашнего номера газеты! Расскажет героев, на чем он остановился, как продолжать повествование... Ну, я и пишу за него роман...

— Что ж, он умер теперь? — перебила его Клавдия.

— Да, — грустно сказал Смельский. — Но будет об этом! Лучше посвящу я своей богине стихи, чтоб доказать, что и я не лишен «искры Божией»... Хочешь?!

И, привлекая к себе девушку, художник начал импровизировать:

Я полюбил тебя всей силой первой страсти...

Ты для меня — немеркнувший рассвет!..

Ты — вся порыв, дыханье чудной власти!

Я ждал тебя, страдая столько лет...

Я умереть готов, безумно наслаждаясь

Тобой одной... Казни меня, казни!

От ран твоей любви как бог перерождаясь,

Прошу тебя, зажги священные огни!

Пусть на них сгорит трепещущее тело,

И прах его развеет вихрь любви!

Приди, приди ко мне!.. Замучь, без думы, смело

И кровью ран мне сердце обнови!..

— Милый, милый! — прошептала в ответ страстно Клавдия. — Я твоя, твоя, хороший мой мальчик...

Было довольно поздно... Лампа догорела... Наступившая тьма еле-еле освещала фигуры двух счастливых любовников...

VIII

ПРИПАДОК

Как ни в чем не бывало, вошла рано утром в свою комнату Клавдия. Сняв шляпу и надетую для отвода глаз кофточку, девушка в изнеможении легла в постель. Сильно побледневшее лицо ее говорило о бессонной ночи...

— Что с тобой? — испуганно спросила ее тетка. — Ты пришла домой вместо того, чтобы идти от подруги прямо в гимназию...

— Ах, забудьте про свою гимназию! — раздраженно крикнула, а не сказала, девушка. — Видите, я нездорова!

— Не прикажешь ли послать за доктором, Клаша? — уже ласково промолвила тетушка.

— Убирайтесь вы со своим доктором! — так же раздраженно ответила Клавдия. — Оставьте меня в покое... Я хочу спать... Уходите...

Не дожидаясь вторичного приглашения, старуха ушла. Клавдия моментально разделась и, обняв подушку, моментально заснула.

Настал час обеда, а девушка все спала.

Хотя не любила старуха Льговская объясняться с «трепалкой» Ольгой Константиновной, но, ввиду такого странного поведения своей любимицы, она пожелала узнать у ее матери, что с ней.

— Ничего, — ответила хладнокровно Льговская. — Просто шаль и нежелание учиться.

— А не знаете, — любопытствовала старуха, — у какой она подруги ночевала?

— Я разве знаю? У нее их много. К путным не пойдет. Небось, со студентами всю ночь толковала. Мировые вопросы разрешали... Уж несдобровать ей... Живо ее «разовьют»...

— С вами, Ольга Константиновна, — обидчиво сказала старуха, — лучше не говорить. О дочери вы, как о посторонней, беседуете... Вам, кажется, все равно...

— А вам не все равно, — возразила вдова, — ну, и беспокойтесь о ней!.. Меня же она ни в грош не ставит. И вам, кажется, известно, *кто* в этом виноват!.. Пожалуйста, прошу вас, избавьте меня от дальнейших разговоров!

— Маша, — позвала она горничную, — подавайте на стол. Я есть хочу. Пробуждения царевны не дождешься, — прибавила Ольга Константиновна со смехом и ехидно посмотрела на тетушку.

Но «царевна» уже входила в столовую.

Клавдия обедала с большим аппетитом, выпила немного вина и при этом раз даже чокнулась с матерью, что делала очень редко. Ольга Константиновна, заметив, что дочь в хорошем настроении духа, решила спросить у ней:

— Клаша, у какой ты подруги ночевала?

— Вам какое дело до чужого тела? — шутливо ответила девушка. — Может быть, я ночевала не у подруги, а у друга!

— Клавдия! — заметила ей с горечью тетка.

В голосе ее послышалось такое страдание, что девушке стало до боли жалко старуху, и она промолчала.

В это самое время Смельский был в редакции своей газеты и выслушивал нотацию редактора за недоставление к сегодняшнему номеру обычных стихов.

— В наказание за это, — сказал редактор, — я прошу вас быть завтра в «Эрмитаже» представителем нашей редакции на ответном обеде юбиляра-педагога Буйноилова.

Смельский поморщился. Он вспомнил, что Клавдия обещала к нему прийти в этот день, устроив сегодня предварительно, чтоб выжить из своей комнаты трусиху-тетку, «припадок».

Но редактор так категорически-вежливо просил художника, что он согласился.

«Попрошу Клавдию, — решил он, — подождать меня... Авось, опять кто-нибудь устроит скандал на вторичном че-

ствовании этого самозванца-рекламиста, и обед скоро кончится... Удивляюсь, куда лезет человек! Мало ему было того, что случилось на первом чествовании».

И Смельский ясно припомнил первый юбилейный день Буйноилова.

В числе дававших обед этому либералу-эксплуататору был и он. Хотя и не любил этого «крикливого» старика художник, но с волками жить — по-волчьи выть!.. Чествование началось прямо с недоразумения. Один из сотрудников юбиляра, детский писатель Гулич-Коваров, подвыпивши, откровенно заявил в своей речи: «Мы сегодня чествуем капитал и больше ничего»... За это его едва не вывел из зала либеральный пошехонец и распорядитель почти всех юбилейных обедов, бездарный публицист Мольцев. Но г. Гулич так энергично показал ему кулак, что тот живо «откатился» от него. Далее этот беспокойный господин мешал всем говорящим похвальное слово юбиляру, замечая громко: «Лесть», «Вранье», «Ах ты, шут гороховый», «Замолчи», «Что по этому поводу сказал бы Ренан?» и т. д. Но вот начал говорить сам «Хатцухи», как прозвал юбиляра все тот же неутомонный «детский» сочинитель. Речь Буйноилова была сплошное самохвальство. Возмутительный старик даже дошел до такого небывалого нахальства, что назвал «прославление» своей персоны «высоким историческим событием»...

При этих словах юбиляра, к нему подошел один очень известный писатель и громко заметил: «Ах ты, букварный Наполеон эдакий! Кланяйтесь, господа, великому историческому герою!» С этого момента и началось «чествование»...

«Нового хочет...» — решил вновь Смельский при этом воспоминании и, сев за стол, стал сочинять обычные злободневные стихи.

Глубокая полночь. Спальня Клавдии и ее тетки слабо

освещается меланхолическим, дрожащим светом лампы...

«Пора, — думает Клавдия, — испугать старуху».

И молодая девушка неистово закричала.

Старуха моментально приподнялась...

Тогда Клавдия соскочила с кровати и бросилась на свою тетку... Потом отбежала от нее, упала на пол и захрипела.

Вне себя от страха, бедная старуха удрала из комнаты. От испуга она даже не могла крикнуть и, добредя кое-как до гостиной, упала без чувств на диван.

Когда она уже очнулась, было утро.

Рассказав о «припадке» Клавдии горничной Маше, она пошла с ней посмотреть на свою больную племянницу, но Клавдия, как ни в чем не бывало, спала очень тихо, и счастливая, торжествующая улыбка играла на ее полных губах.

— Нет, — шептала, глядя на нее, старуха, — с ней я спать, как ни люблю ее, больше не буду. Она, пожалуй, во сне задушит.

Клавдия и на этот раз спала очень долго.

Старуха сторожила ее пробуждение, и не успела молодая девушка открыть глаза, как тетка с ужасом стала ей передавать про ее припадок.

— Какие глупости, — сказала, смеясь, Клавдия, — просто вам приснилось!

А сама подумала: «Слава Богу, припадок удался, и репутация моего художника пока будет не замарана!»

IX

СКАНДАЛ В «ЭРМИТАЖЕ»

— Я пришла тебе сказать, — говорила Клавдия художнику, — что «припадок» блистательно удался, и мы пока что можем спокойно, не боясь ничего, понимаешь... Я буду к тебе приходить каждую ночь, как жена к мужу... Доволен?..

Смельский горячо поцеловал Клавдию вместо ответа и затем озабоченно спросил:

— Ты опять сегодня не пошла в гимназию? Нехорошо, могут догадаться...

— Пускай, мне все равно, — воскликнула девушка... — Только вот тебя жаль!.. Хорошо, я исключительно для тебя пойду в эту противную гимназию и даже уроки приготовлю сегодня. А теперь, хочешь, я тебе попозирую?..

— Нет, Клаша, не нужно... Я пока не могу тебя покойно рисовать.

— Ты желаешь, чтоб я тебе сначала надоела... Эх ты, сластена! Так хочешь, чтобы я к тебе сегодня пришла?..

— Что за вопрос! Только приходи попоздней. По поручению редакции, я должен быть сегодня от 9 часов вечера до часу или двух в «Эрмитаже», на одном дурацком юбилее.

— Вот и отлично, — сказала лукаво Клавдия, — ты займешься своим делом, а я своими уроками.

И при этих словах Клавдия выбежала из мастерской художника.

Колонный зал «Эрмитажа», когда Смельский входил в него, уже кишел, как муравейник. На ответном, бесплатном юбилейном обеде было народу гораздо больше, чем на «чествовании» по подписке. Покушать на даровщинку явилось, как это всегда бывает и на «серых» чествованиях, неизме-

римо больше... У громадного стола, уставленного «предварительной» закуской, было особеннолюдно... Вот идиотская, ослиная физиономия московского корреспондента большой петербургской газеты «Новая стезя» Пыжова; вот толстая, бульдогообразная «личность» талантливового, но погубленного водкой и тотализаторской игрой декадентского и сатирического поэта Тигровского. Недалеко от них в тесном своем кружке стоят: представитель громадного книгоиздательства, юркий и интеллигентный коммерсант-самородок Заварикашев и его главные сотрудники: доктор Атласов и даровитый иллюстратор Ставенко. Последний о чем-то горячо беседует с каким-то высоким и незнакомым Смельском господином.

— Я так ему и скажу, — говорит раздраженно художник, — если он осмелится, как в прошлый раз, говорить о «высоком историческом событии»... — что он меня ограбил, обманным образом, пользуясь моей нуждой после пожара, выудил от меня расписку и вместо 5000 рублей 200 рублей дал за самовольно изданные мои рисунки в книжках, выдержавших 57 изданий...

Взволнованный художник говорил так громко, что слова его были слышны очень многим, в том числе и знаменитому поэту-декаденту Рекламскому. «Сверх-человек», внимая Ставенко, ехидно улыбался. Его молодое, женоподобное лицо было очень похоже на сфинкса; оно было бы очень красиво, если б его отталкивающие, странные, мертвые глаза не говорили вам, что подобный человек, как Басманов, «с девичьей улыбкой — с змеиной душой».

Смельский поздоровался с этими самыми видными «чествователями», бывшими и на прошлом обеде, и стал смотреть на других незнакомых ему представителей «московской мысли», которых он знал понаслышке. Особенно его интересовал тип Холопицкого, ничтожного писаки мелких изданий. «Сотрудничество» его заключалось в том, что он списывал различные остроты из старых юмористических изданий, слегка «переглупляя» их на свой «холопицкий» лад, и выдавал за свои в теперешних журнальчиках; в общем, он «зарабатывал» хорошие деньги. Таких гг. Холо-

пицких легион, они, как мухи, засиживают всякое литературное предприятие и делают совместную работу с ними «каторжной». Только при феноменальном цинизме, безграмотстве и мелочности натур разных редакторов, не знающих даже, что такое гранка, возможно процветание подобных тружеников в повременной прессе. Потом, эти сотрудники хороши тем, что купчина-издатель при случае и ударить их может, и лицо икрой намазать... Вот, собранием таких-то господ и могло назваться вторичное «чествование» маститого юбиляра. Порядочные литераторы на первом обеде увидели, куда они попали, и, конечно, теперь отсутствовали. И педагог-компилятор Буйноилов не должен был на них сетовать: ведь, в сущности, он и сам был крупным Холопицким, только по части учебников. «Черная» сотня Холопицких вполне может назвать его своим «идеалом», и не пустым, а полным, так как «юбиляр» не только сумел составлять бессмысленные учебники из других, прежде его изданных, но даже сумел их вводить в жизнь и нажил на костях других огромное состояние. Его поучительный юбилей «совпал» с двухмиллионным количеством экземпляров его книг, выпущенных в свет до сего времени. Такое празднество действительно будет вписано золотыми буквами в историю всесветных скандалов...

Обед начался, как и предполагал Смельский, с крупного «приветствия». Поднялся поэт Рекламский и, подойдя к юбиляру, сказал:

— Прекрасные незнакомцы, попросту, «милостивые государи» и вы, г. Буйноилов. В прошлом заседании я, как и все другие лица с именем, имел несчастье присутствовать здесь и даже почтить вас добрым словом. Теперь, хотя и поздно, но я уразумел, куда я пришел и кого я чествую... Я, как многие знают, к добру и злу постыдно равнодушен, но мой художественный вкус заставляет меня во всеуслышание сказать вам правду: хотя вы и носите личину либерала и прогрессиста, но вы, извините меня, — фарисей и эксплуататор. Вы даже пользуетесь «огненным несчастьем», чтоб не заплатить заработанных денег вашим сотрудникам. Художник Ставенко не откажется подтвердить мои слова.

Поэтому, как свободный слуга муз и красоты, я не желаю присутствовать среди «нагло-болтающих» и ухожу, прощаясь с одной только моей соседкой по столу, в которую я уже успел влюбиться.

И поэт Рекламский направился к выходу. Многие гг. Холопицкие бросились со сжатыми кулаками, чтоб угодить своему «папаше», но юбиляр остановил их словами:

— Охота обращать внимание на ложь этого полоумного выскочки! Кто не знает, что он только бьет на скандал, желая, чтоб о нем говорили. Я молча, как и вы все, выслушал его речь, показав ему этим молчанием своим презрение... Глубокое за это спасибо вам!

Между тем, это была неправда. Речь г. Рекламским была произнесена таким убедительным голосом, с такими «красноречивыми жестами», что положительно все были загипнотизированы этим странным человеком, которого все не любили и готовы были растерзать. Гг. Холопицкие своим «молчанием» оказали медвежью услугу Буйноилову. Они, когда «очарование» правды кончилось, удивлялись, как это они выдержали, не указав своим протестом место известному «отбросу» из их общества.

Слова юбиляра были покрыты «шумными» аплодисментами, но среди них раздались и свистки.

Буйноилов побагровел. Его маленькие, сытые глаза строго посмотрели на тех, которые, по его мнению, могли свистеть. Его лицо так и говорило: «За мою хлеб-соль и мне же свищут!» Но обычное нахальство взяло верх... Лицо Буйноилова приняло прежнее самодовольное выражение, а его длинный язык снова ощутил желание сказать что-либо вроде «высокого исторического события». И юбиляр снова начал.

Но художник Ставенко его перебил.

— Не лгал, а правду сказал г. Рекламский! — промолвил он дрожащим голосом... — Вы воспользовались моей нуждой, пожаром, бывшим у меня, и дали мне 200 рублей вместо пяти тысяч... Вы не одного меня, а многих...

При последних словах произошло общее движение. Как ни пошлы, ни мелки гг. Холопицкие, но и они отвернулись

от своего, так публично скомпрометированного, «родона- чальника».

— Я вас попрошу выйти вон, — громовым голосом ска- зал юбиляр, перебивая «приветствия» художника. Но тот продолжал вещать и под возгласы Буйноилова: «Вон, я здесь хозяин»... И выразил, между прочим, что бульварный На- полеон его ограбил, снял с него последний сюртук, что в вы- строенном им себе капище славы резиденцию имеет толь- ко черт...

Вне себя подлетел Буйноилов, окруженный лакеями, к художнику, но навстречу ему вышел доктор Атласов и, сни- мая на ходу свой сюртук, кричал:

— Юбиляр, возьми и мой последний сюртук для капища славы!

После этого «дара» обед, конечно, не продолжался. Мно- гие повскакали со своих мест и направились к выходу. В том числе был и Смельский.

Взяв хорошего извозчика, он моментально доехал до ре- дакции. Страдная ночная газетная работа была во всем раз- гаре. Поздоровавшись с сотрудниками, Смельский вошел для отдания отчета в кабинет к редактору.

— Да что вы?! — воскликнула «первая скрипка» газеты. — Неужели?! Доигрался старик... В таком случае ничего не пишите... Осторожность прежде всего. И никто, я уверен, не напишет об «окончании» юбилея: сказать неправду стыдно, а правду еще стыдней!..

«Господи, какой ужас! — думал про себя Смельский, спе- ша к Клавдии. — Я это предвидел... Положим, хорошо, что юбиляра проучили... Но все-таки, как скверна, как мелоч- на наша жизнь!.. Как я счастлив, что я полюбил скромную, но правдивую и непосредственную девушку!.. Как бы у ме- ня было тяжело сейчас на душе... Что она теперь делает?.. Уроки учит...»

И, как-то особенно улыбнувшись, молодой человек не пошел, а побежал.

ТЕРПЕЛИВАЯ НАТУРЩИЦА

Прошло несколько недель. У Клавдии начались экзамены, от которых она благоразумно отказалась. Она решила «пока что» остаться в седьмом классе на второй год. Любовь к Смельскому у молодой девушки обратилась к какому-то страстную привычку. Человек всегда болезненно привязывается к тому, кто первый открыл ему завесы физической жизни. О художнике нечего было и говорить. Он как собака привязался к Клавдии и жизнь без нее считал невозможной. Он несколько раз напоминал ей о более прочном и удобном союзе, но девушка как-то отмалчивалась.

— Люби, пока любишься, — говорила она Смельскому, — а там посмотрим. Что же, я для того, чтобы ты стал открыто, сразу, моим женихом, устраивала припадки и пугала тетюшку? Нет, шалишь, подожди!..

Мать и тетка смутно догадывались об отношениях молодых людей, но прямо намекнуть об этом Клавдии они боялись и ограничивались только ворчанием.

«Погоди, я тебя подкараулю на месте преступления, плутовка!» — решила про себя старуха-тетка. И, действительно, подкараулила. Как-то раз старухе не спалось. Вдруг она слышит, что из спальни Клавдии кто-то вышел и пошел осторожными шагами по направлению к комнате художника. Опытная тетюшка живо сообразила... Неслышно ступая, она направилась к Клавдии. Непотушенная лампа освещала ее пустую кровать. Напустив на себя храбрости, старуха тихо поплелась к жильцу и еще издали услышала поцелуи и голос Клавдии.

— Ах, ты бесстыдница! — прошептала с негодованием тетка. Ее осенило. Она поняла теперь «припадок» Клавдии.

— Вот для чего она меня напугала! — продолжала старуха сердиться, ложась на постель племянницы. — Постой, я тебя уличу...

Прошло два, три долгих часа ожидания... Старуха, было, думала пойти «туда», но решив, что выйдет из этого только один скандал, а Клавдии все равно не исправишь, взяла да заснула.

Совсем на рассвете вернулась Клавдия в свою комнату и, увидав старуху спящей на своей кровати, промолвила: «Что им нужно, не понимаю!.. Прекрасно, завтра объяснимся». И Клавдия направилась к художнику, чтоб рассказать ему, что их «припадки» открыты, а также и уверить его, чтоб он ничего не боялся.

— Я все устрою, мой мальчик! — говорила она ласково Смельскому, раздеваясь и ложась с художником на диван. — Давай спать спокойно.

Но молодой человек с этим не соглашался, просил Клавдию объявить: он, мол, ее жених! На это молодая девушка только повторяла: «Молчи, спи и береги свое здоровье: я им, ведьмам, завтра покажу».

Наутро, когда Клавдия вышла к чаю, мать и тетка набросились на нее. Они тотчас же уличили «безнравственную» девочку, грозили прогнать негодяя-жильца. Однако молодая девушка прямо заявила «шпионам», чтоб они не смели и мечтать трогать художника, иначе она открыто жить с ним станет, переедет в номера и никогда не выйдет за него замуж...

— А теперь неизвестно, — закончила Клавдия свои слова. — Только не смейте скандала делать, иначе дойдут слухи до гимназии...

— Не слухи тебя выдадут, — ядовито заметила мать, — а другое, — и она посмотрела на слегка пополневшую талию девушки.

— Какие глупости! — спокойно возразила девушка. — По себе, мамаша, не судите... Я только художнику по целым ночам позирую для картины...

— Врешь, — вставила с сокрушением свое слово тетка, — и целуешься с жильцом тоже для картины?

— Ну конечно! — со смехом сказала Клавдия. — Для большей колоритности. Но что с вами говорить: вы все равно ничего в этом не смыслите!

Смельский очень хохотал, когда Клавдия передавала ему «родственную» сцену.

— Я тебе говорила, все уладится! — убеждала его Клавдия. — Пожалуйста, забудь старух! Тебе с ними не детей крестить... Ты их и не видишь совсем... Теперь же принимайся за дело, иначе «Вакханка» твоя долго не будет готова.

Клавдия живо разделась и стала «в позу». Закинув, как бы в истоме, свои чудные руки, причем линии ее полной груди сделались еще рельефнее и вызывающее, она невольно вспомнила «ядовитые» слова матери «о талии».

— Неужели правда?! — подумала она и с невольной досадой посмотрела на художника.

Но Смельский, увлеченный работой, которую начал сейчас же после того, как Клавдия, по ее выражению, «ему порядком надоела», ничего не заметил.

Рисуя по несколько часов сряду, он, чтоб облегчить «неподвижный» труд Клавдии, рассказывал ей про то и про сё. Вот и теперь он говорит ей о прочитанной им статье: «Горький и Ницше». Он вполне соглашается с мнением автора, что босяки Горького манекены, скроенные на манер «ницшеанских» сверхчеловеков.

— По-моему, — разъясняет он Клавдии, — Горький — талант слишком внешний и неглубокий. Причина же его успеха в том, что многие интеллигентные люди — «босяки в душе» и не могут на деле сбросить с себя оков приличий и условностей обыденной, пошлой жизни... Сбросить же оковы им так хочется, а если не сбросить, так желается хоть почувствовать симпатию к настоящим, свергнувшим с себя это иго, героям — горьковским босякам. Пройдет это болезненное настроение, угаснет и слава Горького.

Затем художник переходил к более общим темам. Говорил о тяжести работы в современном обществе, лишенном всяких устоев, наполненном всякими нахальными личностями имеющими претензию руководить людьми и жечь сердца простаков «шантажными» глаголами.

По словам Смельского, упадочничество было везде. Все стали существовать и мыслить «по ту сторону добра и зла». Модное, фарисейское и безнравственное, учение «непротив-

ления злу» пустило глубокие корни. Что терпят теперь и каких негодяев считают почетными гражданами, — просто удивительно!...

Возбуждение и гнев художника все росли и росли. Глядя на обворожительную «наготу» Клавдии и постепенно перенося ее на полотно, Смельский не мог избавиться от обуравляющих его мыслей. Наконец, раздражение его достигло апогея, когда он вспомнил о последнем поступке Буйноилова...

— Клавдия! — обратился он к девушке. — Отдохнем немного. Ты устала.

Девушка, с желанием в глазах, подошла к Смельскому, но тот не понял ее...

— Какой ты стал холодный! — сказала с упреком Клавдия. — Разлюбил меня!

— Я разлюбил! — с горечью воскликнул художник, привлекая девушку к себе. — Я разлюбил... В тебе — вся моя жизнь. Я долго ждал тебя и, наконец, дождался, — начал импровизировать Смельский:

Ты принесла с собой мне солнышка привет,
Я, как червяк, не жил, а пресмыкался:
Вокруг меня шумел, кривлялся пошлый «свет»...
Моей ты будешь песнью лебединой:
Смерть дышит на меня, я чувствую, давно...
Но полон я сейчас лишь мыслью единой:
О, если б жить всегда мне было суждено!
Я б красотой твоей бессмертной упивался...
Пускай кругом царит безумье и разврат!
Я б никогда с тобой, поверь, не расставался,
Твой верный друг, твой пес, любовник твой и брат!

— Ты настоящий поэт! -- восторженно вскричала Клавдия. — Только к чему говорить про смерть?..

— Про смерть?.. — задумчиво повторил Смельский. — Да так. Сегодня мне приснился сон, когда я, убаюканный твоими объятиями, забылся: будто бы я иду куда-то наверх со старым литератором Нееловым, замученным работою Буй-

ноилова. Он говорит мне: «Пойдем отсюда туда, где нет скорби, нет друзей, торгашей Буйноиловых, которые мне всем были обязаны... Они, ты сам знаешь, теперь даже мою вдову и детей из своего дома на улицу выбросили. Пусть этому поступку возмущаются другие тайные фарисеи... Друг Буйноилов их не боится: он миллионер. Пойдем!..»

— Какие глупости и страсти! — перебила Смельского Клавдия. — Мало ли что может присниться!

— Ты думаешь? — грустно сказал молодой человек. — Ну, хорошо! Давай работать.

Клавдия снова отошла от художника и «застыла»...

ХІ

СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА

Предчувствия Смельского сбылись...

Был знойный июль. В Москве нечем было дышать от духоты и пыли, и только, когда заходило солнце, можно было отворять окна, чтоб проветрить комнаты и освежить их.

Квартира Льговских была в Троицком переулке, и часть окон дома выходила в Екатерининский парк, так что лучи заходящего красиво солнышка были постоянно в комнате художника и полумертвым, фантастическим светом заливали обстановку ее и последнюю, только что законченную большую картину Смельского «Вакханка». Она была совершенно готова. Нагая, очаровательная Клавдия, как живая, глядела на вас и, указывая на ложе, звала к наслаждению и блаженству. Молодая девушка не утерпела и позвала посмотреть «на себя» своих гимназических подруг. Они все положительно пришли в восторг и разнесли по всей Москве молву о новом Сухоровском. К Смельскому стали являться посторонние лица, но скромный художник не желал никому до выставки показывать своего детища. Исключением был только тот «знаменитый» художник, который впервые пригрел юношу в Москве.

— Откуда вы взяли такую великолепную натуру? — спрашивал он Смельского с явной завистью. — Я вам предсказываю, что вы ею прям составите имя. Хотите, я вам сейчас найду покупателя, познакомьте меня только с вашей натурщицей...

Художник передал слова «знаменитости» Клавдии. Та не хотела и слышать о продаже «Вакханки», обещая Смельскому достать взаймы де нег, если они ему уже так нужны. Познакомиться же со «знаменитостью», но только не для позирования, она была не прочь. Профессор назначил время, и знакомство состоялось бы, если бы Смельский не за-

болел. Навещая какого-то товарища, больного, как после оказалось, пятнистым тифом, художник заразился...

Болезнь началась сразу со страшного жара. Смельский сейчас же понял, что это такое. Что бы оградить Клавдию от заразы, он попросил отвезти себя в больницу, но молодая девушка со слезами упростила его остаться, забыть об ее особе, уверяя, что болезнь пустая и что он скоро опять будет молодцом.

— Ты хочешь, чтоб я умер возле тебя? — сказал тихо, с благодарностью Смельский. — Но ты сама заболеешь. Нет, лучше уйди, Клавдия.

— Не терзай меня! — закричала с плачем девушка. И тотчас же приказала послать за доктором, причем сама перенесла с горничною Машей в комнату художника свою кровать. Затем она раздела и уложила ослабевшего Смельского в «девичью» постель.

— Милый, — шептала она нежно, — не смей болеть. Знай, что без тебя Клавдия пропадет.

И, несмотря на требования художника быть осторожней, страстно целовала его, гладила его кудри и весь вечер и ночь не отходила от него.

— Нет, Клавдия! — говорил уверенно художник. — Я умру, я чувствую это! Господи, как хочется жить! Будь умной, Клаша, приободрись и приободри меня. В случае моей смерти, похорони меня на Ваганьковском кладбище. У меня есть деньги в банке. Завтра же засвидетельствуй мою подпись и возьми их оттуда на всякий случай. Все оставшиеся деньги отошли моим старикам — они нищие. Напиши им, что, мол, это все, что накопил я про черный день. Мои этюды и портреты возьми себе...

Сердце Клавдии раздиралось на части, слушая эту спокойную предсмертную волю юноши. Она не могла найти таких слов, которые не были бы пошлыми, чтоб выразить своему возлюбленному свои муки.

Рыдая, она покрывала безумными поцелуями горячее тело художника, терявшего постепенно память... Она становилась на колени и горячо молилась Богу, и ей показалось, что ее возлюбленный разумно, с сознанием смотрит на нее

и сам принимает участие в ее молитве...

На другой день г-жа Льговская съездила, по просьбе дочери, за известным доктором. Даже черствая душа Ольги Константиновны, не говоря уже о тетке, прониклась горячим участием к художнику, видя, как дочь безумно любит его. А потом, художник был так красив! Болезнь придавала еще более прелести его молодому, искаженному муками лицу. Только одна голая «Вакханка» все *так же* смотрела из рамы на умирающего художника и звала, звала своего творца...

Перед приездом доктора старуха-тетка завесила ее, и никто не заметил этого.

Опытный врач, констатируя начало тяжелой формы пятнистого тифа, всех успокаивал, что молодость и богатый организм Смельского перенесут болезнь. Но эскулап ошибся. Художник напрасно боролся со смертью. Дни его были сочтены... Он метался и бредил на кровати своей «любви»... Клавдия не отходила от него. Надежда пока не покидала ее. Она день и ночь ухаживала за Смельским, как бы желая силой своей страсти вдохнуть в него жизнь. Художник по временам открывал воспаленные, страдальческие глаза и как будто разумно, с благодарностью смотрел на молодую девушку. Даже в бреду он говорил только о Клавдии, беспокоился о ней. Все остальное для него не существовало.

В день его смерти, когда уже стало для всех очевидным, что художник умирает, Клавдия, как умалишенная, бросилась к нему, стала безумно целовать его голову и раздирающим голосом просила его «не покидать ее, пожалеть ее молодость».

Но умирающий художник бесчувственно, неподвижно внимал ее горячим просьбам, и какая-то счастливая, нездешняя и проникновенная улыбка играла на его полуживых устах...

Клавдия заметила эту улыбку. Она поняла, что улыбка — знамение скорой смерти. Как раненая львица, она отбежала от кровати Смельского и, вне себя, громко и злобно закричала:

— Ты смеешься! О, будь ты проклят! Ты не любишь меня! О, если бы ты любил, ты заставил бы себя жить для меня! Умирай же скорей! Я тебе постараюсь поставить хороший памятник и сейчас же забуду тебя!..

Очевидно, муки Клавдии достигли до апогея. Ее неокрепшее, горячее сердце не могло согласиться с абсурдом этой смерти. Злоба, ужасная злоба поселилась в испорченной душе молодой девушки, и началом ее была какая-то моментальная апатия к умирающему любовнику.

Она первый раз за все время болезни вышла из комнаты художника и уже не возвращалась в нее.

К вечеру Смельского не стало.

Клавдия с удивительным хладнокровием стала помогать матери поскорей удалить из дома «заразу». Она первая пошла навстречу полиции, приказывающей как можно проворней похоронить художника, умершего в жаркую летнюю погоду от такой прилипчивой болезни.

Клавдия сама купила «вечное жилище» своему милому, сама привезла «дом» на квартиру и только отказалась присутствовать при запаивании и дезинфекции гроба мертвеца, а также при помещении художника в преддверие могилы.

Она даже не пожелала последний раз взглянуть на дорогие черты покойника, проститься с ним: злоба, стихийная злоба душила ее.

На другой день во всех газетах был помещен некролог Смельского с краткими биографическими сведениями, которые сообщила Клавдия пришедшим к ним за этим репортажем. Сведения, как водится, были совершенно перевернаны, зато заметки были переполнены «достоверными» сплетнями, услышанными «писателями» от словоохотливой прислуги. В них, ни к селу ни к городу, были намеки на Клавдию и вообще на то, о чем вовсе не следовало бы писать из уважения к покойнику. Некрологи предупредительно сообщали, что скончался Смельский от очень заразного «недуга» и что администрацией приняты все меры предосторожности.

Художник умер в глухое «дачное» время и от прилипчивой болезни, так что на отпевании и при погребении его почти никого не было. Явился только редактор газеты, где постоянно работал Смельский, и искренне поплакал над свежей могилой своего молодого, талантливого и, самое главное, добросовестного сотрудника.

Клавдии также не было на похоронах, и ее, конечно, удерживала не боязнь заразиться...

Только после того, когда все кончилось и вместо когда-то дышавшего и думавшего человека был воздвигнут могильщиками неуклюжий холм, молодая девушка явилась на Ваганьково кладбище. Сзади нее рабочие несли купленный ею простой крест с краткой надписью: «Художник Смельский». Она в своем присутствии приказала поставить его на могиле. Привычная медлительность рабочих не нравилась ей, и она как-то ожесточенно и вместе с тем холодно говорила: «Нельзя ли перестать курить и скорей окончить работу?!» Когда крест был поставлен, Клавдия уплатила деньги могильщикам и, даже не посмотрев на дорогую могилу, пошла от нее прочь туда, куда влекла ее злоба, делавшая живую жизнь, живых людей и вообще все, что чувствовало, человечески мыслило, огромным, сплошным кладбищем.

ХП

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ

Клавдия точно и педантично исполнила волю покойного и, вынув его деньги из банка, без всяких вычетов, целиком, отослала старикам художника. Во время отсылки денег, на почтамте, когда ей пришлось долго ждать очереди в душном и тесном помещении преобразованного ведомства, с ней случилось дурно. Она упросила пустить ее, ввиду ее нездоровья, скорее отправить деньги и, забыв даже взять обычную расписку-документ, кое-как наняла первого попавшегося извозчика и добралась до своей квартиры.

Клавдия сейчас же поняла свою «хворь» и немедленно послала тетку за акушеркой.

«Доигралась!» — подумала злобно Клавдия. Между тем, боль и схватки увеличивались... Показалась кровь... Клавдия еле-еле воздерживалась от стога. Она считала всякое внешнее проявление страдания за малодушие.

Через час явилась акушерка, бойкая, разбитная бабенка. Она со «скромненькими» веселыми прибаутками осмотрела больную и констатировала необходимость вмешательства в это дело хирурга-акушера.

— Я не могу вам без доктора помочь, — заявила она Клавдии. — Я не компетентна.

Ольга Константиновна с «притворными слезами притворного стыда» отправилась сама на дачу к какому-то доктору, чтоб пригласить его помочь ее дочери — девушке-гимназистке.

Акушерка, остановив кровотечение и приготовив Клавдию для операции, ушла на другую практику, прося, в случае прибытия доктора, немедленно послать за ней. Клавдия осталась одна со старухой-теткой. Ни раскаянье, ни стыд, ни потеря дорогого человека, ничто так не угнетало Клавдию, как ощущение невыносимой физической боли и чувство необыкновенной, острой злобы на эту глупую, беззаконную смерть.

Молодая девушка лежала на новой, только что купленной, роскошной кровати. Ее побледневшее лицо оттенялось вьющимися белокурыми волосами... Высокая температура заставила ее сбросить одеяло, и красивые линии ее молодого, роскошного тела не скрывала тонкая, розоватого цвета батистовая рубашка.

— Какая ты красавица, — сказала ей тетка, чтобы хоть чем-нибудь утешить свою любимицу. — И вдруг такое несчастье. Какая бы партия тебя ожидала...

Клавдия ничего не сказала в ответ на наивные слова старухи и только презрительно посмотрела на нее.

— Ну, ничего, Клаша! Бог милостив, — продолжала тетка. — Вон, недавно я читала в «Листке», — начала она передавать Клавдии, ни к селу ни к городу, рассказ, как бабы узнали, кто из девок в одной деревне родил и утопил ребенка.

— Собрали они, — повествовала старуха, — сходку и решили осмотреть всех девок в деревне. И что же, представь себе, доили их и по молоку узнали, кто родил. После этого доения преступница повесилась. Вот что значит невежество и жестокость! — уже совсем глупо окончила она свой рассказ. — Ты тоже провинилась и как бы плохо тебе было бы там, у них.

Но Клавдия не слыхала ее «морали». Она была в полузабытьи... Страшный жар жег ее молодое тело, не испытывшее до сих пор ничего подобного. Лицо ее покраснелось. Она была дивно прекрасна. А доктор, между тем, медлил. Уже поздно ночью явилась Ольга Константиновна и заявила, что оператор может прибыть только к восьми часам утра.

— Сто рублей запросил, аспид, — закончила она свой рассказ и отправилась на свою половину.

Клавдия не слыхала и этого рассказа, так как полузабытье перешло в глубокий сон. Только в семь часов утра очнувшись она, почувствовав сильные схватки...

Акушерка уже суежилась около ее кровати, постоянно повторяя: «Однако, вы молодец. Первый раз встречаю такую терпеливую пациентку. Но вот, скоро приедет доктор и как рукой снимет все ваши мучения».

Ровно в восемь часов прибыл акушер. Это был уже пожилой, громадного роста человек, немного грубоватый на вид. Его глаза сурово и пытливо смотрели сквозь золотые очки. Узнав, что больная — девушка из хорошей семьи и еще гимназистка, он укоризненно посмотрел на Ольгу Константиновну.

Но та, сделав сердечком губки, как бы говорила ими доктору, что она, при всей своей добродетели, не могла удержать легкомысленную дочь от падения.

Войдя к Клавдии, доктор мягко поздоровался с девушкой, очарованный ее молодостью и красотой. Больная без всякой жеманности позволила осмотреть себя и даже сама предупредительно откинула одеяло... Акушерка не ошиблась: операция была необходима, последыши трехмесячного плода обязательно нужно было удалить из организма.

Доктор написал несколько рецептов, послал за лекарством в аптеку и стал готовить стол и инструменты к операции.

Как ни бесстрашна была Клавдия, но боязнь неизвестной и, может быть, очень сильной физической боли заставила ее спросить дрожащим голосом: «Что, будет очень больно?»

Словоохотливый доктор прочел ей целую лекцию о подробностях предстоящей операции.

— Сущие пустяки! — заключил он. — Несколько минут, — и все пройдет... Бывают только иногда последствия, но некоторые молодые женщины нарочно устраивают себе аборт для этих последствий... Они желают быть в дальнейшем бесплодными.

Эти подробности были, пожалуй, несколько излишни для Клавдии, но такова слабость всех специалистов: заведя речь о своем «ремесле», они без стеснения передают то, что знают или думают в настоящий момент.

Клавдии вновь пришлось «позировать» совершенно голый, но только уже перед ножом оператора...

Девушка спокойно легла на стол... Боясь, что она будет биться от боли и мешать доктору, ее держали за руки акушерка и горничная Маша.

— Больно, больно! — застонала только один раз Клавдия, когда доктор оканчивал уже операцию.

— Все кончилось — заметил ей на это оператор. — Все кончилось, милая барышня!

Она хотела было сама встать со стола и дойти до своей кровати, но ей не позволили. Доктор бережно взял ее, как ребенка, на свои богатырские руки и донес до кровати.

— Моя миссия совершена, — сказал с улыбкой акушер. — Вот мой адрес. Вам необходимо навестить меня, когда вы поправитесь. А теперь до свиданья! Я вам больше не нужен.

Клавдия крепко пожала руку, избавлявшую ее от дальнейших мучений.

Часть вторая

ВАКХАНКА

Прошло три года со смерти Смельского.

Много утекло воды.

«Наследственность» Клавдии была главным двигателем при обращении ее в холодную, развратную куртизанку. Тетка ее умерла, мать сбежала после совершеннолетия Клавдии с каким-то отставным гвардии поручиком, выпросив у дочери «для счастья» несколько тысяч. По окончании курса сантиментальной жизни, а не гимназии, которую Клавдии так и не удалось кончить, больной, расположенный с детства к излишествам и чувственности организм девушки, сдерживаемый некоторое время первой, безвременно погибшей любовью, в настоящее время освободился от всяких пут и зажил «вовсю». Клавдия даже стала посматривать с какой-то цинично-злой улыбкой на кощунственно повешенный, для остроты ощущений, над самой ее кроватью громадный портрет художника. Она много раз, отдаваясь в этой комнате своим временным поклонникам, которых она меняла, как перчатки, говорила им, что «портрет» был первый ее любовник и что они никуда перед ним не годятся.

— Только за ваши деньги терплю я вас! — со смехом добавляла она. — Портрет же был мой единственный бесplatный любовник!..

Имя Клавдии уже было известно всем бесшабашным прожигателям жизни, хотя добиться у нее успеха и за страшные деньги было очень мудрено. За ней сначала нужно было, как за барышней из хорошего семейства, побегать, а так как бегунов, очарованных ее необыкновенной, страшной красотой, было очень много, то «поклонники», несмотря на строгую очередь, постоянно мешали друг другу. Особенно страдали старички. Их она доводила прямо до белого каления.

«Знаменитой» Клавдия стала сразу. Успех ей приготовила уже лежавшая и тлеющая в гробу любящая рука Смельского. Узнав о смерти художника, протезировавший ему профессор живописи постарался сделать отдельную выставку для его картины «Вакханка». Успех «Клавдиного тела» был необычайный... Около года постоянно сменяющаяся толпа пожирала глазами действительно необычайную страстность позы молодой девушки. И как это всегда бывает, после обозрения произведения стали разыскивать «натуру». Все усилия профессора «монополю» владеть Клавдией, в которую он без ума влюбился и которая начала, «со злобы», с него «практику», не увенчались ничем... На помощь всем чающим увидеть живую «Вакханку» пришли гимназические подруги Клавдии, знавшие ее роман с художником, ее «позирование», кончившееся кое-чем, за что «натуру» уволили из гимназии, без прошения — в отставку.

Клавдия очень охотно со всеми знакомилась, особенно до совершеннолетия, когда ее капиталы были еще под запретом... За картину давали большие деньги, и врожденная честность говорила Клавдии, что она должна, хотя покойник и подарил ей «Вакханку», отослать эту сумму его престарелым родителям. Необыкновенная заботливость о бедной семье художника была единственным нравственным звеном, связывающим ее циничную и забывающую все скоро душу с художником, хотя эта теплота и может показаться странной, так как Клавдия питала какое-то стихийное злобное чувство к самому покойнику. Она не могла простить ему его внезапной смерти, как будто бы несчастный художник был виноват в том.

«Если бы не встреча с ним, — постоянно думала Клавдия, — я, может быть, не так бы страшно пала. Я уладила бы себя и свою наследственность. А теперь будь проклята моя чистая любовь, заставившая меня сразу дать простор своей больной крови и пить ее из других! С каждым днем я становлюсь ужаснее, тоска моя усиливается, и в этом виновата исключительно так рано порванная моя первая страстная любовь... В цвете лет, сил и здоровья лишилась я всего... Когда же нет ничего, тогда все есть... Порок еще силь-

ней смерти и первой любви! В нем теперь заключается вся моя жизнь!..».

Первый «гнев» Клавдии обрушился на знаменитого живописца. Услышав его рассказ, что только благодаря ему имя Смельского, как творца «Вакханки», не умрет в истории русской живописи, молодая девушка еще более возненавидела профессора.

— Вы, стало быть, первый виновник моего несчастья, — говорила она профессору со многозначительной и очаровательной улыбкой. — Хорошо, я постараюсь вознаградить вас!

Свое слово Клавдия скоро сдержала. Разорив совершенно пожилого донжуана, заставив его заплатить за покупку «Вакханки» старикам покойника, она немедленно отогнала его от себя.

Профессор был очень скуп и, увидя себя на закате дней нищим и притом еще так осмеянным за «лучшее проявление своих старческих чувств», предпочел бытию — нирвану...

II

МИЛЛИОНЕР ПОЛУШКИН

Клавдия только улыбнулась, услышав о внезапной смерти своего покровителя. Она скоро успела снова хорошо устроиться, заманив в свои популярные и отчасти обгаренные кровью сети сына известного московского архимиллионера Полушкина, двоюродного брата ее гимназической подруги Нади Мушкиной. Полушкин был единственный наследник и горячо любимый сын своих «маменьки и тятеньки». Родители в нем души не чаяли, а он относился к ним довольно холодно, и после окончания курса в коммерческом училище постоянно «штался» для «образовательных» целей по заграницам. Однажды он явился из своего «путешествия» в таком виде, что «опытный» папаша сразу заключил, что это образование кафешантанное и решил дорогого сынка впредь «учиться» за границу не пускать. Но «дитю» тосковало, худело без «наук», и любящие родители вновь отпускали его в «Европию». Большие бы деньги они дали, если бы кто-либо мог удержать его в Москве. Ничего бы, как говорится, *для себя* не пожалели. Их желание скоро сбылось. Проглядывая как-то раз один дорогой журнал в Париже, молодой Полушкин натолкнулся на воспроизведение «Вакханки» Смельского.

«Где я видел эту очаровательную девушку? — подумал Полушкин. — Кажется, у Самьевых, где живет моя двоюродная сестра, Надя Мушкина, состояние которой так бесцеремонно прикарманил опекун, муж моей сестрицы Полусовой... Неужели это она и в таком виде?!»

Сомнения Полушкина рассеялись, когда он прочел описание «Вакханки» во французском журнале. В нем довольно бесцеремонно рассказывалась жизнь Клавдии Льговской, были намеки на ее поведение и ее жертву-профессора.

По приезде в Россию, Полушкин сумел найти Клавдию и предложил ей свои услуги. Клавдия в то время возилась с каким-то «небольшим» артистом Большого театра, успев-

шим ей порядком надоесть как своей «вулканической» страстью, так и отсутствием «аппетитных» денег. Она если не с любовью, то с удовольствием отдалась новому чувству и приласкала молодого миллионера... Фамилию его она помнила по рассказам Нади Мушкиной. Эта товарка, как и другая, Синичкина, вышедшая теперь замуж за жалкого литератора «либерального» лагеря, Елишкина, не бросала Клавдию и не гнушалась ей. Была только разница в отношениях этих двух гимназических подруг к Клавдии: Мушкина к ней ходила бескорыстно, а Елишкина всегда с целью занять денег, чтоб пополнить ничтожный заработок ничтожного либералиста. «Писатель», конечно, понимал, на какие он средства шикует, но, будучи одинаковых убеждений с Буйноиловым, притворялся, что не знает этого. Он также собирался праздновать свой юбилей.

Клавдия скоро, по совету папаши Полушкина, была переведена в роскошный дом на Поварской. Молодой человек окружил ее сказочной, но немного безвкусной обстановкой.

Лестница, ведущая в «рай», была украшена тропическими растениями. В передней, вместо вешалки, стояли медведи на подставках; во рту «мертвые» звери держали крюки для вешания платья. Квартира состояла из трех комнат: зала, столовой и спальни, где висел над кроватью портрет Смельского...

Клавдия положительно околдовала недалекого Полушкина; его некрасивое лицо с «львиными» усами выражало страшную муку, когда на все его просьбы «жить только с ним», «вакханка» отвечала: «Этого нельзя: я очень добра и не могу обидеть понедельника, вторника, среду, четверга и тебя — мою пятницу!»

Днями недели Клавдия называла своих поклонников. Она каждого принимала в свой день и проводила с ним время. Если кто-нибудь из них «протестовал» против такого порядка, Клавдия, не желая стеснять своей свободы, безжалостно отказывала ему от дома, и никакие просьбы не могли помочь провинившемуся тирану вернуться в объятия Клавдии. Однако, Полушкин представлял исключение: он

пользовался и воскресеньем, и субботой, днями «отдыха» возлюбленной, хотя и носил официальное прозвище «пятницы». Миллионы Полушкина и заботы о Клавдии смягчали «непреклонную» волю вакханки, и она богачу многое прощала. О полной же монополии его на ее ласки она просила и не помышлять. «Маменькин» сынок терпеливо переносил капризы Клавдии, боясь окончательно потерять ее; притом, воскресенье и суббота были также отданы ему, так сказать, вне абонементу и смиряли его норы, заставляя гордиться этой исключительной «привилегией».

Клавдия полулежала в гостиной на кушетке, одетая в какой-то фантастический костюм. На коленях у ее ног валялся «четверг», известный фельетонист Наглушевич. Он пришел к ней сегодня в пятницу. Это было нарушение уставов Клавдии, и она на все его страстные просьбы отвечала отрицательно и просила оставить ее в покое. Сейчас может явиться Полушкин и произойдет столкновение «поездов». Вакханка же была исправный стрелочник и не любила «крушений».

Ее насмешливое, молодое и по-прежнему прекрасное лицо сделалось еще более удивительным по своей привлекательности: зрелость наложила на него особый отпечаток. Губы стали еще полнее и чувственнее, а полунагая, не прикрытая тканями высокая грудь еще пышней и рельефней. Она нарочно, дразня фельетониста, смотрела на ее колышание.

Царило полнейшее молчание.

— Отворите форточку и уходите вон, — сказала она «четвергу». — Сейчас явится «пятница».

III

СТОЛКНОВЕНИЕ

Наглушевич послушно окончил свое «коленообразное склонение» и подошел к окну.

Струя свежего весеннего воздуха, вместе с великопостным благовестом, ворвалась в напоенный сладострастными духами «уголок» вакханки и заговорила, что где-то происходит другая, возвышенная жизнь, с другими, полными глубокого значения, явлениями... Фельетонист взглянул из открытой форточки на прозрачное голубое небо и перекрестился.

— Для меня это ново! — воскликнула удивленно Клавдия Льговская. — Вы, Наглушевич, верующий! Я не могу допустить, что глубокая вера могла находиться в сердце такой бесструнной балалайки, как вы!..

— Да, я человек верующий, — ответил с непритворной грустью Наглушевич, — как это ни странно! Я никогда не сажусь за работу, не перекрестившись...

— И потом, — сказала Клавдия с ехидной улыбкой, — в своей «работе» высмеиваете все, что свято и дорого каждому человеку! Простите, — это фарисейство...

— Может быть, но это так. Мы — люди, мятущиеся без всякого устоя... Редко кто из нас может отвечать за свои действия... Среди нас очень мало искренних... Мы зарабатываем громадные деньги... Нам хорошо платят за флюгерство... Издатели принуждены, чтоб оплатить нашу «беспардонную бойкость» и устоять на месте, шантажировать всех, кого можно, особенно заведения вроде, например, г. Декольте, где все, — искусство, вино и женщины, — соединяется для того, чтобы пить «дурацкую» кровь. Вы, я думаю, читали «полемику», как попался мой издатель...

— Глупенков, — подсказала Клавдия, — как же, читала, но погодите...

Разговор так заинтересовал хозяйку, что она, забыв о «столкновении поездов», уже не гнала от себя фельетониста.

— Скажите мне, вы богаты или будете обеспечены за свое «близкое» участие в «сих темно-коричневых делах», как вы выражаетесь?!..

— Какое! мы все ставим на карту... Совесть, честь, убеждения, — все продаем и все-таки умираем нищими. Мало кто из нашего брата нажил состояние... Особенно из истинных «флюгеров»... Я знаю только одного журналиста-богача, издателя «Новой стези», но ведь он исключение, а потом и ничем «открыто» не гнушается. Он откровенно заявляет, что сотрудники его, с позволения сказать, жулики, а где ему прикажете достать честных людей? Далее, честные люди и не выдержат его ежовых рукавиц, и так обманывать публику не сумеют!..

— Что же, большая газета мне немного сродни, — ядовито заметила вакханка, — я также окружаю себя темными личностями...

— Какое сравнение! — убежденно произнес Наглушевич. — Вы, по крайней мере, честны, потому что искренни и не выступаете под флагом «жалких слов, горячих фраз, прекрасных»... Да что «Новая стезя»! Вот консервативная газета «Доброе старое время» громит то, чем ее книжные шкафы торгуют и, так сказать, служат рычагом бросания «вредных идей» в охраняемую ею публику. Положим, и либералы не лучше... Возьмем Буйноилова... Он на словах весь мир обнимает, а на деле прилепляет близким людям «ракеты», чтоб легче им на тот свет лететь было... Вы знаете его поступок с семьей его товарища и друга Неелова?..

— Знаю... Выходит, что я права, пренебрегая общественным мнением... Я даже не хочу переменять своей настоящей фамилии и выбирать псевдонима... Льговская, и все тут...

— Конечно, Льговская, — прошепелявила, «модно» картавя, входящая «пятница» Полушкин, — прекрасная, звучная фамилия, как и ее...

— Замолчите, Полушкин!.. — резко перебила его Клавдия. — Поберегите свои пошлости для tête-à-tête. Лучше познакомьтесь... Полушкин, Наглушевич! — сказала она, представляя друг другу «поклонников».

Рослый, внушительный, слегка плешивый Наглушевич подошел к маленькому, ничтожному пшюту Полушкину.

Они пожали друг другу руки.

Миллионер давно знал «писателя». Недавно он разнес его «тятенку» за его сомнительную благотворительность. Весьма понятно, что «сынок» был враждебно настроен против фельетониста, осмелившегося публично подкопаться под непогрешимость «папы».

«Я сейчас почти у себя в доме... — думала микроцефальская головка, — попробую его унизить».

— Я вас знаю, но читаю ваши наброски редко, — сказал с явной неприязнью Наглушевичу миллионер. — В них нет чувствительности к правде!

Наглушевич понял, что «недоносок» хочет унизить его в глазах Клавдии.

«Постой, я его выведу на чистую воду: за что он сердится на меня?!» — решил фельетонист.

— Вы хотите сказать, — спокойно возразил Наглушевич Полушкину, — в моих писаниях нет истины. Может быть. Кому мало дано, с того много и спрашивается, — сострил он. — Об истине мне заботиться некогда. Я не миллионер, и родитель мой, которого я не знаю, также не был им; по крайней мере, официально я этого утверждать не могу. Я ублюдок-с. Я консервативно-либеральный и реакционерно-прогрессистский публицист. Меня мамаша родила-с между написанием фальшивого векселя и составлением шантажной заметки-с. Так где ж нам, ублюдкам-с, «чувствительность» к правде иметь?! Вы — другое дело. Вам и карты в руки-с...

— Я личности так глубоко не желал бы затрагивать, — трусливо зашепелявил Полушкин.

Клавдия поняла, куда клонит Наглушевич. Ее это легкое столкновение начало немного интересовать. Она была убеждена, что фельетонист слегка поучит зазнавшегося маль-

чишку. И поделом, не начинай...

— Не желаете задевать-с, — ответил Наглушевич со смехом. — А кого же вы изволили «нечувствительным» к вашим капиталам, то бишь, «истинам», назвать?..

— Позвольте. Это я — так.

— Так нельзя «лжецом» человека называть! — не отставал Наглушевич. — Так только вы и ваши присные трудом человеческим пользуетесь. Я же, по крайней мере, хотя домов и миллионов не имею, никого, кроме себя, до смерти не эксплуатировал, а потом для отвода глаз не благотворил...

— Клавдия! — вспыхнул молодой благотворитель. — Я прошу тебя запретить обижать меня и папà этому господину. Кажется, я заслужил... Он ведь меня, хозяина, обижает!..

Льговская, вся красная от оскорбленного самолюбия, поднялась с кушетки. Грудь ее высоко, гневно поднималась, громадные глаза сделались еще больше.

— Вы здесь хозяин? Идиот! — взволнованно крикнула она, подходя к Полушкину. — С каких это пор? А?

И, не давая опомниться пшюту-капиталисту, она бесцеремонно схватила тощую, марионетную фигурку его и вытолкнула его из гостиной.

— Иван! — крикнула она лакею. — Подай барину пальто и никогда не смей пускать его ко мне!.. Слышишь?.. Я вам покажу, милостивый государь, — говорила она по адресу удаляющейся «пятницы», — какой вы здесь хозяин!.. Попробуйте вернуться ко мне!..

IV

ЗАГОРОДНЫЙ КУТЕЖ

— Благодарю вас, Наглушевич, — сказала она, возвращаясь в гостиную, — что вы дали толчок для того, чтобы я вытолкнула этого щенка... Видите, я иду по вашим стопам — острою!.. Он — хозяин?! Действительно, он купил мне обстановку и заплатил за мою квартиру за год вперед, но разве я не *искупила* всего этого? Один час обладания мной стоит и не таких еще жертв... Он со слезами на глазах просил меня... Я же, как вы знаете, женщина добрая и пожалела «богатенького манекенчика»!

— Вы известная благотворительница, — ласково произнес Наглушевич, зная, что его вольность Клавдии понравится.

— Что правда, то правда, мой дорогой «четверг»! — воскликнула весело Клавдия. — Бросим говорить об этом соре, я не горюю о ссоре... Напротив, в награду за это, поедемте сегодня смотреть венскую оперетку, а оттуда за город — кутить!..

Представление третьего акта «Прекрасной Елены» оканчивалось. Изображающая древнюю героиню, «из-за пышного стана которой цари так упорно сражались», артистка-немка должна была участвовать в избитой пьеске: «Цыганские песни в лицах» и петь на русском языке разухабистые русские мотивы.

— Это будет очень пикантно, ведь она ни одного слова по-русски правильно вымолвить не может, — говорил полупшепотом Наглушевич, сидя вдвоем с Клавдией в дорогой, закрытой ложе.

— Точь-в-точь один публицист из «Доброго старого времени»! — не мог и тут утерпеть фельетонист, чтобы не ска-

зять чего-либо про кого-нибудь из своих собратьев. — Родился он в Германии, учился в Вене и вдруг попал в руководители газеты и о русском самосознании хлопочет. Ну, не шарлатанство ли! Он даже и книгами торгует, приноровленными, по его понятию, к просвещению русского «духа». Поль де Коком или «Тайнами гарема», например. Одной моей знакомой старушке он даже от работы отказал за то, что она не согласилась с его мнением, что для развития русского народа «Тайны гарема» совсем не лишни!

— Уж вы сочините! — недоверчиво воскликнула Клавдия. — Сами-то вы хороши! Знаю, что вы в одном некрологе написали про недавно умершего почтенного деятеля... Вы вспомнили, что познакомились с ним в «веселом доме» и описали, как он там «убежденно» отплясывал.

— Вы возражаете, как всякая женщина... При чем я здесь? Я — другой коленкор. Я не руководитель старейшей газеты, а бесструнная балалайка, как вы метко изволили прозвать меня. Господин же Асмус — не я! Он охранительный столп и человек правдивый. Правда его простирается до того, что он одну, тоже старушку, переводящую ему также «Тайны гарема» другого автора, хотел для большей правдивости перевода в Турцию отослать с предписанием: «В баядерки поступить». Там, говорят, старух, в особенности толстых, очень любят. Для силы контраста, стало быть...

— А, ну вас! — сказала Клавдия. — Вы вечно с глупостями. Будем лучше слушать «Цыганские песни».

Увлеченные болтовней, они действительно не заметили, как пролетело время и началась другая пьеса.

«Декорация» действительно представляла из себя черт знает что, а не русскую обстановку.

— Редакция старейшей «русской» газеты, — ядовито прошептал вновь неугомонный фельетонист.

Наконец, выбежала «русская» красавица. На нее без смеха нельзя было смотреть.

— Гоюбка моя! — затагнула она, одетая в коротенькую балетную юбочку. — Пожмемся в гою...

— Что, неправду я вам говорил?! — делился Наглушевич с Клавдией впечатлениями, сидя с ней в пролетке, запряженной парой бешено несущих их за город лошадей.

На подмостках ресторана, изображающих из себя что-то вроде сцены, голосили какую-то неприличную песенку девицы, когда Клавдия и фельетонист проходили главную залу кабачка, чтобы скрыться в кабинете.

Навстречу им попался какой-то моложавый, удивительно стройный, с оригинальным красивым лицом богатырь.

— Декадент Рекламский! — сказал Клавдии Наглушевич. — Хотите, я его для «курьеза» позову к нам, в кабинет? Он нас повеселит...

— Пожалуйста, — отвечала Льговская. Поэт ее очень заинтересовал. — Я с удовольствием с ним познакомлюсь... Я много про него слышала.

Фельетонист исполнил ее «приказание».

Поэт Рекламский не заставил себя долго ждать. Он всегда был не прочь «сойтись» с новой, хорошенькой женщиной.

Не успел лакей подать все нужное для «кутежа», как Рекламский уже жал руку Клавдии.

— Я всегда пребываю в этих злачных местах, — начал сразу он. — Я жить не могу без новизны. А где найдете ее, как не здесь? Тут постоянный ввоз нового женского тела...

— Ну, пошел с места в карьер, — воскликнул Наглушевич. — Пожалуйста, будь поскромней... Расскажи лучше, как на тебя г. Волынкин, как на «дичь», охотился...

— Я думаю, это неинтересно, хотя и сверх-нелактично.

— Тогда не надо! — корча из себя умышленно невинность, проговорила Клавдия.

Рекламский инстинктивно понял, что она заинтересовалась им, и отложил свою повесть, щадя «стыд» Клавдии, до другого раза, хотя он и прекрасно знал, *кто* она.

— Я несчастный человек! — перевел он разговор на прежнюю тему. — Тело женщины, какая бы она ни была, я люблю только один раз. Потом оно наскучивает мне.

— Какой женщины? — многозначительно «бросила» Клавдия.

— Всякой, — настаивал на своем убеждении декадент.

— Неправда!..

«Однако, Клавдия им порядочно обворожилась», — подумал Наглушевич. И, обращаясь к поэту, фельетонист сказал:

— Прочти что-нибудь нам, да позабористей. Ты мастер, я знаю, на заборах писать!

Рекламский не обратил на «шута» никакого внимания и начал:

Я бесстыдство люблю только раз,
Прелесть тела я раз созерцаю,
А потом, тело, скройся из глаз,
Я тебя, как добро, отрицаю.
Я бесстыдство люблю только раз...

Я другого ищу сочетанья,
Незнакомых созвучий груди,
И за эти за все очертанья
По кровавому еду пути...
Я другого ищу сочетанья...

Новых жертв я ищу, как гипноза,
Жить без новых красот не могу,
Жизнь моя есть сплошная угроза:
Подарить ее можно врагу.
Жить без новых красот не могу...

— Ну, с такими стихами далеко не уедешь! Разве в сумасшедший дом, — буркнул фельетонист, когда декадент кончил.

Но Клавдии стихи понравились. Потом, они прочитаны были с такой безысходной мукой голоса, с таким тон-

ким сладострастием, что она решила пригласить к себе обыкновенного поэта.

Рекламский поблагодарил Клавдию за внимание и как-то загадочно улыбнулся.

После чтения стихов разговор что-то не клеился и все приналегли, по выражению фельетониста, на другие «куплеты» — на свиные и прочие котлеты, хотя «сего лакомства» на столе и не имелось.

У Клавдии изрядно шумело в голове от выпитого шампанского, когда они, простившись с Рекламским, садились с фельетонистом в коляску.

— Хорошо, хорошо! — шептала Льговская в ответ на страстные просьбы Наглушевича. — Поедем ко мне ночевать без очереди... Только, пожалуйста, мне особенно не надоедай своими глупостями и дай покойно поспать...

СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вытури в 12 часов дня, «для своевременного сочинения новых “пасквилей”», Наглушевича, Клавдия приказала подать себе кофе.

Сегодня была суббота, день «пятницы» — изгнанного Полушкина, и Льговская была свободна.

— Смерть — свобода, свобода — смерть, — запела она арию из «Маккаеев» Рубинштейна своим довольно сильным и приятным контральто. От нечего делать, она училась пению, и многие поклонники говорили ей, что она талант зарывает в землю.

— Да, свободна! — сказала она вслух. — Бюджеты мои без Полушкина немного пострадают. Но ничего, я заведу новых. А пока что, — проговорила она свое любимое гимназическое словцо, — обложу другие «дни недели» экстраординарным налогом. Пусть их разоряются... Мне какое дело?.. Однако, у меня сегодня болит голова... Как занятен этот Рекламский, в нем действительно что-то есть необыкновенное, странно привлекательное! Не посетить ли мне его сегодня? Кстати, посмотрю его полунищенскую, полукрезовскую обстановку.

Клавдия долго нежилась в постели. Мысли ее перебегали от одного любовника к другому...

Один из них, как по щучьему веленью, дерзновенно предстал перед ней, несмотря на то, что была не его очередь.

Это был знаменитый адвокат Голосистый. Его «вакханка» терпеть не могла. Он был поношенный, слабый, изнуренный излишними наслаждениями человек. С ним Клавдия не могла как следует и забыться.

— Я осмелился, — начал он, — к вам явиться без зова и без очереди.

— И очень неумно сделали, — объявила Льговская.

— Меня привел к вам экстренный случай. Вчера я облапошил одного дурака и взял за «процесс наклейки гер-

бовой марки» почти сто тысяч, засим выиграл дело в суде.

— Поздравляю, а мне-то что!

— Я пришел поделиться своим счастьем, тем более, дело я выиграл в суде с трудом. Произошел даже маленький скандал...

— Что ж, спасибо за память, — так же холодно промолвила Клавдия. — Мне деньги всегда нужны. Только прошу за них не требовать от меня лишних ласк. Советую потщательней подготовиться к обычному, очередному диспуту. Сейчас же лучше расскажите про скандал... Я люблю, когда вы попадаете впросак.

— Впросак я никогда не попадаю, — обидчиво заметило светило адвокатуры, — а в непредвиденные обстоятельства — да. Вчера я допрашиваю одного свидетеля с противной стороны. Показал он. Мне его показания не понравились. Я его и начал сбивать и сбил. Другое, совсем противоположное заговорил. Его «свидетельство» секретарь записал. А когда попросили «очевидца» показание подписать, он от подписи отказался. «За меня, говорит, — адвокат показывал, пусть он и подписывается. Он совершенно сбил меня, и я вместо правды — ложь сказал». Произошло полное недоразумение. Председатель сам его стал вновь допрашивать, и он опять, как впервые, на моих доверителей правду показал. Дело, однако, я выиграл. Анекдот-с!

— Спасибо за откровенность! — воскликнула Клавдия. — За острый ум ваш я вас и переносу, а то какой вы, скажите на милость, мужчина! Тряпка...

— Вы, я вижу, в дурном настроении духа! — сказал адвокат и, положив на грудь «вакханки» большой, туго набитый конверт, простился, поцеловав мокрыми, холодными губами руку своей «слабости».

Клавдия была недолго одна.

Как это всегда бывает, что за одним непрошеным гостем является другой, так и вслед за адвокатом явилась также звезда первой величины, «божественный баритон» Выскочкин.

Театральной, неблаговоспитанной походкой подошел он к кровати Клавдии и как-то простонал:

— Прости меня, Тамара! Я сон встревожил твой! Но привела к тебе моя судьбина...

— Оставьте свое глупое ломание! — раздраженно проговорила Клавдия... — Взрослый человек, а все мальчика из себя разыгрывает и на сцене, и в жизни. Удивляюсь, как вас еще терпят за ваши наглые капризы в театре...

— Меня давно они бы погубили, но смерть моя — театру смерть, — продолжал кривляться «баритон». — Я к вам пришел сейчас по порученью... Прошу вас выслушать... Я первый раб ваш, грозная царица. Со мной пришел мой верный Лепорелло.

— Выскочкин, говорите серьезно или уходите! — уже не шутя сказала Клавдия. Она даже привстала с кровати, причем грудь ее совершенно обнажилась. — Говорите толком, кто с вами пришел?

Баритон объяснил, что пришел полуактер, полукомиссионер приглашать ее выступить в живых картинах в бенефис кафешантанного директора г. Декольте.

— Я его принять не могу, — сказала категорически Клавдия. — Если же вы думаете, как опытный артист, что его предложение подходит ко мне и не повредит мне — узнайте подробно: какие будут картины, и сколько они намерены заплатить?

— Заплатят, я знаю, они за вечер по 500 рублей, — пояснил Выскочкин... — Повредить же вам участие в живых картинах, даже и в таком вертепе, ни в каком случае не может. Напротив. Я немного посвящен в тайну. Просил это сделать г. Декольте вчера вечером ваш поклонник Полушкин. Я сначала, простите, предполагал, что это вы его научили.

— Очень мне нужно! — презрительно сказала Клавдия. — Без них-то я не обойдусь! Впрочем, если просят, я согласна. Предложение выгодное. Подите, скажите своему «сва-ту» мой ответ.

— С радости чуть мой Лепорелло не умер, — смеясь, говорил, входя в спальню, Выскочкин. — А мне что же, за благой совет и хлопоты ничего не будет?..

— Конечно, ничего! — кокетливо улыбнулась Клавдия.

Ей очень нравился этот некрасивый, но сильный, страстный и, вдобавок еще, знаменитый юноша... Пение его очаровывало ее, как и всех других женщин.

— Жестокая! Ты мук не понимаешь, — запел Выскочкин своим сильным бархатистым голосом.

Выскочкин знал по опыту, что только пением, и именно этой арией, можно разжалобить «божественную» Клавдию. «Вакханка» поддалась «гипнозу» и, очарованная талантом певца, не могла не отвечать на его горячие ласки, на его сильные объятия...

VI

У ДЕКАДЕНТА

— У, противный какой! совсем измучил меня, — говорила Клавдия по адресу юноши, когда он уже был в театре на репетиции. — Как я устала...

Однако, усталость не помешала Льговской через час звониться у странного подъезда декадента в его приемные часы, о которых «вакханка» узнала из газетных объявлений.

Рекламский жил в подвале громадного дома на Мясницкой, хотя он был очень богат.

Лестницу, ведущую в жилище поэта, освещали скелеты со вставными разноцветными электрическими «глазами». Клавдию неприятно поразила эта разнообразная игра и сила света. Она поморщилась.

«Какое сумасшествие!» — подумала она.

На звонок вышел сам хозяин.

— Я знал, что это вы явитесь, — промолвил он просто. — Я одарен необыкновенным предчувствием. Очень рад... «Ясновидение» и на этот раз не обмануло меня.

Декадент ввел Клавдию в громадную, окрашенную в кровавый цвет комнату. В комнате не было никакой мебели, за исключением простого белого табурета, широкого стола, заваленного книгами и гравюрами, и огромной кровати, покрытой всем черным; даже наволочки у подушек были черные.

Это убожество обстановки как-то не вязалось с изящным, одетым по последней моде поэтом, руки которого были усыпаны, как «пальцы коготки», крупными, редкими бриллиантами.

— Я помешала вам? Не прервала ваше творчество? — спросила смущенно декадента Клавдия.

— Мне никто не может помешать! — ответил устало он... — Я мертвец, когда не вижу перед собой новых, красивых женщин, их линий тела...

— Пожалуйста, без комплиментов! — воскликнула Льговская. — К вам они не идут...

— Никогда я не говорю неправды, хотя правда тоже ложь и даже хуже лжи. Я вас еще не знаю, но вы такая красавица, и я живу...

Глаза Рекламского засверкали дико и страстно. Его восточное происхождение сказывалось во всем. Клавдия, видя, что перед ней полубезумный человек, испугалась и стала раскаиваться в своем визите.

— Я живу красотой! — продолжал Рекламский. — Наука, искусство, знание, — все фикция. Люди ничему не могут научить друг друга, хотя при взаимном, постепенном воровстве идей друг у друга они могли похитить молнию с небес, которую вы видели в «разных цветах» у меня на лестнице. Без постоянного созерцания нового женского тела я не могу дышать...

И при этих словах он подошел к Клавдии и стал безумно целовать ее, опытной рукой расстегивая ее с «секретными застежками» платье.

Она было вздумала сопротивляться. Но вид поэта был так страшен, что вполне загипнотизировывал и усыплял ее волю...

С каким-то диким наслаждением он любовался на ее опьяняющую наготу... Он как будто бы сам был намагнетизирован ею и любовался, без конца любовался роскошным телом Клавдии.

Льговская покорно лежала на черной кровати. Какая-то истома и вместе с тем непреодолимое желание отдаться этому странному человеку явилась у «вакханки».

Но поэт стоял недвижимо, упиваясь ее наготой. Клавдия протянула к нему со сладострастным стоном руки... Поэт очнулся и, как тигр, бросился на нее и стал душить ее в своих огненных объятиях...

VII

ВЕРТЕП Г. ДЕКОЛЬТЕ

Заведение г. Декольте, где должна была выступить на днях в новых картинах Льговская, процветало, как «Счастливая Аркадия», для которой законы не писаны, в самом сердце Москвы. Оно было пышным и единственным поставщиком для страны «белых медведей» всего, что вырабатала культура разврата всего света. К г. Декольте слетался, под претенциозным названием «артистки», весь рой экзотических камелий. С подмостков этого театра на всех языках и наречиях, не исключая и индейского, интернациональные дивы звали юношей стариков к изысканному, совершенному и утонченному обращению себя на нижеживотную степень. Г. Декольте пользовался услугами «всемирного союза» для доставления себе все нового и нового товара во вкусе декадента Рекламского. Все это происходило «белым днем и целой ночью» на глазах у всех и в то время, когда со всех сторон слышится громкий призыв к целомудрию, к уничтожению азартной игры, к неусыпной борьбе с развратом и бичом молодости и красоты — сифилисом; когда пишутся и вызывают всеобщее одобрение везде, даже и во Франции, гениальные пьесы об «ужасах сладострастных болезней»!.. Положим, г. Декольте и его «друзья» умеют хорошо замаскировать свою низкую деятельность и отстранить от себя, под видом «театра», центр тяжести, но от этого никому ни тепло, ни холодно. Все гимны разврату и пороку, распеваемые на сцене артистами вертепа, в цензурном отношении, при чтении, совершенно невинны! Но в них умеют вдохнуть жизнь бесстыдным тоном, неприличными жестикомияциями. Порок в заведении г. Декольте так красив, привлекателен и силен, что не редкость встретить там и самих громящих разврат и беспокоящихся за участь падших женщин деятелей. Они, как вся пресса, прекрасно знают, что это за театр, и все-таки его посещают. «Газетчики», в особенности мелкой прессы, свили даже себе в «театре»

гнездо, превратили его в свою редакционную комнату. Господин «вертепщик» щедро оплачивает их молчание... Некоторые журналисты положительно у «хозяина заведения» на содержании. Если пресса — шестая держава, то у г. Декольте она первая и самая разлюбезная. Вся эта взаимная «грязная» дружба выходит наружу, но крайне редко: во время грызни, например, двух уличных листков из-за хлебных рекомендательных объявлений о кафе-шантане. В драке волос не жалеют, и обиженная неподходящей таксой «за анонсы на первой странице» газета начинает разоблачать заведение, чтоб заставить г. Декольте струхнуть и пойти на уступки. Боже мой, что тогда выплывает наружу: не только за человека, но даже за муху, имеющую несчастье жить в вертепе, страшно! «Хозяина» с документами в руках упрекают во всех тайных грехах, в сводничестве и в умышленном распространении страшной болезни. Но г. Декольте не дремлет. Он утилизирует другой, конкурирующий с обижающей его газетой, орган, в котором появляются громовые защитительные письма в редакцию, подписанные г. Декольте, совершенно не знающим русского языка. В них откровенно намекается, что «газете-ругательнице» не дано или мало дано, что все описанное в ней ложь, исходящая «из уст продажного пера!» Особенно хорошо это «из уст продажного пера!» Однако, «некупленная» газета не унимается, и, несмотря на угрозы чистого и даже идеального «антрепренера-кафешанташика» привлечь ее за вымогательство и клевету к ответственности, продолжает изобличать г. Декольте. Вот каким милым слогом описывает продажное перо «заведение “всемирного покровителя разврата”»:

«Вертеп господина Декольте!

„Извиняюсь перед читателями; я решился взять эту рискованную тему, лишь уступая настоятельным, коллективным просьбам, выраженным в целом ряде полученных мною писем... Корреспонденты мои из читателей, судя по подписям — отцы и матери семей, обладающие блудными детьми, жены — увлекающимися мужьями, наконец, один даже ста-

рый “Селадон”, много пишут мне на эту тему, но смысл всех посланий таков:

— Да обратите же, наконец, внимание на это безобразие! Неужели повседневные злобы дня *важнее* для печати, чем это зло, разъедающее в корне известную часть нашего молодого поколения, этот центр заразы, где прожигает деньги и здоровье вся опора нашей жизни — молодежь, проходящая там, “сквозь строй оборотной стороны культуры и цивилизации”. Этот притон, стоящий в самом центре Москвы, где еженощно собирается вся столичная “накипь” — альфонсы, сутенеры, бульварные, полусгнившие феи, кассиры, решившие купить наслаждения ценою ограбления касс, артельщики — впоследствии герои судебной хроники, наивные провинциалы, которые входят туда с полным кошельком и выходят “пустыми”, как выжатый лимон... Наконец, наши мужья, наши дети и, к сожалению, отчасти жены, которых там одурманивают... Обратите же на это внимание!

Десять лет назад явился в Москву некий “сюжет” интернационального происхождения из бывших лакеев в одном из притонов Парижа и решил, что вот-де самое удобное место для насаждения кафе-кабацкого “университета”.

И монополизировал Москву...

Сюжет этот — господин Декольте, директор «театра “Стыдливость”», как вещают афиши.

Замечательно, что за этот десяток лет Москва была взята господином Декольте всецело в арендное пользование, — иных “развлекателей” в подобном жанре не появлялось.

И надо отдать справедливость “шустрому” предпринимателю: за эти десять лет он энергично “обдекольтировал” Москву.

Я старый москвич, на моих глазах выросло два поколения молодых москвичей, и знаете ли, читатель, какую интересную подробность я вам сообщу на *эту* тему...

Я наблюдаю теперь новое поколение, выросшее и воспитанное “по Декольте!”

Я говорю, конечно, не о всей молодежи, но, увы, я не шушу и говорю о некоторой части ее совершенно серьезно...

К сожалению, это факт!

На моих глазах сие “декольтированное образование” наглядно проявлялось на целом ряде молодых людей, юношей, на лице которых я читал их дальнейшую карьеру: попойки в душной атмосфере, пропитанной запахом вина и женского “белого и черного тела” — сначала; необыкновенная жажда добыть деньги на эти удовольствия “во что бы то ни стало” — далее; растрата, подлог, кражи, даже грабежи, “материальные” убийства — впоследствии; пьяный угар, скамья подсудимых... “звон цепей” и “места не столь отдаленные” — финал этой эпопеи...

Печальная картина!

Чтобы не быть голословным, изображу вам здесь, соблюдая всякую скромность и сдержанность — *как веселятся у Декольте.*

Длинная душная зала. Облака табачного дыма и крепкий трупный запах винного перегара. Шум, гам, крики. Инде скандалы, инде “внушения действиями”, масса пьяных “кавалеров” и грозные тучи “этих дам”, — вот вам первое впечатление “театра” господина Декольте.

Называется заведение “театром” и действительно, для “пущей важности” и для скрытия “следов преступления”, здесь даются иногда скабрзные фарсы и комедии, но это только в начале “ночи”.

После третьего акта начинается особое *представление* — при благосклонном участии в деянии, предусмотренном законом, наказующим за бесстыдные действия, — публики и милых, но погибших созданий.

Буфет, эта альфа и омега “театра”, торгует на диво.

Напитавшись вдоволь спирта, с возбужденными, красными лицами, со скотским выражением в глазах, сидит эта публика и с жадностью слушает необыкновенно сальные куплеты, которые ей докладывает какой-то мизерный, “холойственный” вида черномазый субъектик.

Сального “артиста” сменяет полуголая женщина, за ней другая, третья — целый ряд... На всех двенадцати и больше языках здесь поется и докладывается то, что шевелит в человеке дурные страсти, низменные похоти.

Это — концертное отделение.

Оглянитесь, посмотрите — сколько юношей, подростков среди этой публики; молодые безусые лица, но истомленные, бледные, как мертвецы, с явною печатью страшной болезни и порока...

Это — завсегдатаи, “одекольтированные” до мозга костей молодые люди.

Здесь же масса женщин... Не будем лучше говорить об этих несчастных, я не хочу намеренно сгущать краски...

Третий час ночи.

“Торговля” в полном разгаре... Общая зала с бесконечными столиками — это Бедлам или “свалка” нечистых животных!

Тощее пиликание дамского “полуодетого” оркестра тонет в хаосе звуков, пьяных криков, ругани... В воздухе висит такой букет винного перегара, что трезвый, свежий человек может запьянеть от одного воздуха...

И здесь опять женщины — они сидят за столами, группами ходят между ними, загораживают вам своими “прелестями” дорогу в проходах...

Но главная торговля наверху — там кабинеты...

Не буду смущать воображение тем позором, теми унижениями человеческого достоинства и женского стыда, которые происходят в этих кабинетах...

Немало здесь прожжено чужих “воровских” денег, не-

мало “вспрыснуто” преступных сделок...

Стены этих кабинетов пропитаны преступлением, развратом и...

Здесь все позволено — давай только денег, больше денег!

В заключение констатирую факт.

Смешно было бы требовать внезапного исправления нравственности.

Есть язвы в жизни, с которыми приходится мириться... Подобных заведений немало везде, но нигде они не носят все же того характера наглого разврата, неприкрытого цинизма и, главное, совершенно не оказывают того тлетворного влияния на массу, как то замечается в Москве у господина Декольте.

И здесь замечаются прямо-таки странные вещи: например, еще недавно накануне праздников были закрыты все настоящие театры — нельзя было наслаждаться облагораживающим душу зрелищем, — в это время... “театр” господина Декольте всегда открыт.

В церквях еще не кончились всенощные, а здесь уже культивируется разврат в полной мере...

Не странно ли это?

И не пора ли, наконец, обратить серьезное внимание на этот вертеп в центре города? Ведь обсуждался же вопрос о переносе известных домов за черту города, — чем же это заведение лучше их?..

Скажу более: тлетворное влияние его значительно страшней, ибо здесь разврат прикрыт “красивой дымкой”...»

Комментарии к подобной филиппике против «театра» господина Декольте совершенно излишни...

На этот раз «продажное» перо писало правду, а для общества, кажется, безразлично, *кто* и из каких *побуждений* говорит ему истину. Публике решительно все равно: есть нос или нет носа у «великого писателя».

VIII

«НАНА»

Ровно в 11 часов ночи Клавдия подъехала к театру г. Декольте, освещенному двумя чудовищными глазами-фонарями.

Ее давно уже ожидали.

Сам бенефициант-Декольте высадил знаменитую красавицу города Москвы, благосклонно согласившуюся выступить, в именины «известного антрепренера», в поставленной лично им самим живой картине «Нана», как было возвещено в огромных афишах.

Многоточие и первая буква фамилии Льговской сделали свое дело. Многие захотели посмотреть на сверхчеловеческую красоту Клавдии, не говоря уже об ее знакомых и поклонниках, желающих публично похвастаться близостью к роскошной женщине.

Особенно увивался около Клавдии художник-декоратор и правая рука г. Декольте, Горбоносов. Сметливый и умный молодой человек еще вчера сообразил, когда Льговская приезжала на «генеральную» репетицию, что очень недурственно пристроиться к такой аппетитной, а главное, состоятельной женщине.

Клавдия отнеслась как к «директору», так и к его товарищу очень холодно и властно.

Горбоносов живо понял, что ему здесь ничего не поддует и, оставив в покое Льговскую, живо полетел за кулисы сообщить своим коллегам и таким же ценителям красоты, что она дрянь и что за ней не стоит ухаживать.

— Наверняка, она тебе, — заявила какая-то разбитная девица, услыша критику декоратора, — нос наклеила. Вот ты ее и поносишь. Небось, она не наш брат, и посмотреть на тебя не пожелала!.. Лучше уж ты за мной поухаживай: я с тобой, по крайней мере, трешницу «гостя» завтра разделю!..

В уборной, куда Клавдию попросили пройти, уже находились Наглушевич и светило адвокатуры, Голосистый. Последний, здороваясь с ней, вручил ей конверт со слезным прошением миллионера Полушина: «Простить и помиловать его, глупого и несчастного».

Льговская прочла «ходатайство» и не уважила его, сделав Голосистому внушение, очень обрадовавшее фельетониста, который недолюбливал адвоката.

— Сколько вы с него взяли за подачу апелляции, — ехидно спросила Клавдия «светило», — если за простую наклейку марки берете с глупцов сто тысяч?

— Какая вы насмешница! Вам ничего нельзя сказать! — проговорил, сильно покраснев, адвокат.

— Я думаю, вы меня хорошо знаете! — возразила Клавдия.

Живая картина «Нана» удалась на славу. Льговская стояла за себя. Она появилась совсем обнаженной перед публикой, нежась на роскошной кровати. Публика г. Декольте, привыкшая к различным видам, и та была поражена необыкновенной смелостью и красотой позы Клавдии. Театр замер от восторга и преклонения перед «замечательной, божественно сложенной Льговской». Чистота форм ее тела была многим известна по картине Смельского «Вакханка»; но на ней была тогда изображена девочка в сравнении с той, которая теперь лежала живой перед тысячью глаз стариков и юношей... Гробовое молчание продолжалось несколько минут... Руки у всех онемели и не могли аплодировать. Торжество созерцания богини прерывалось только тяжелыми вздохами и похотливым сипением старческих слабых грудей.

Наконец, занавес опустился. Раздался гром рукоплесканий и бешеный, сладострастный вопль: «Бис! бис!» Но в то время произошло что-то необыкновенное. Какой-то посетитель, очевидно, душевнобольной, вскочил в оркестр и

начал карабкаться на подмости...

— Я ее убью, убью! — кричал незнакомец и неприлично ругался.

Дюжие руки «молодцов-служителей» схватили его и понесли из зала. На губах бесноватого показалась кровавая пена и он неистово продолжал кричать: «Дайте мне ее, я растерзаю ее белоснежное тело, чтоб она не могла хвалиться им и очаровывать, как змея! Вы бьете меня: я нарушаю ее покой, а она преступает и нарушает все законы!» На помощь служителям явились новые и только тогда удалось «без особенного труда» вынести отчаянного и сильно-го посетителя...

Этот больной вопль, эти проклятия так подействовали на Клавдию, что она, несмотря на отчаянные просьбы директора «не делать его несчастным и еще раз показаться перед публикой», не могла, даже заполучивши вперед деньги за сегодняшний и завтрашний «спектакль», выйти на бурные требования публики.

— О, какой ви строгий и безмилосердный! — упрасивал ее ломанным русским языком «антрепренер-публицист». — Ви совсем мини позволяйи погубить! Боги вам накажут.

Вместе с директором в уборную Клавдии осмелился появиться Полушкин и еще какой-то малоголовый франт. Подозрительный наперсник миллионера даже позволил себе вставить какую-то пошлость в просьбу директора.

Клавдия вскипела и стала громко кричать: «Пошли, пошли вон».

— А когда ви так, — дерзко воскликнул Декольте, — я вас сам потащил на сцены и велю дать занавес. Не в картинах, так с моим ви будет выбигать к публикам, — и директор схватил Клавдию.

Настала решительная минута, когда Полушкин, заступившись за Льговскую, мог бы надеяться на ее прощение, но он в то время был уже далеко от уборной. Окрик Клавдии «Вон!» заставил его в один миг «повернуть оглобли». Льговская была совершенно одна, окруженная директором и другими «насильниками».

Самолюбие ее страшно страдало: она первый раз в жизни находилась в таком положении! Все мужчины до сего времени повиновались ее одному взгляду.

Она уже хотела «сдаться», как вдруг на помощь ей явились, услышав ее протестующий голос, поэт Рекламский и «звезда-баритон» Выскочкин.

Клавдия, задыхаясь от гнева, передала им свой рассказ. Она была почти совершенно обнаженная, но ей было не до приличий.

Великан Рекламский бросился на «именинника» и одной левой рукой выбросил его из уборной. Все остальные, видя участь хозяина, поспешили сами, подобру-поздорову, ретироваться: им всем хорошо были известны нрав и сила г. Рекламского!

Между тем, как декадент очищал уборную, Выскочкин одевал Клавдию или, вернее, мешал ей одеваться...

Клавдии очень льстило публичное внимание знаменитостей, в особенности кумира москвичей — Выскочкина, и она терпеливо сносила вольности популярного артиста.

А тот, между прочим, действовал «вовсю», совсем забыв о присутствии в уборной поэта.

— Русалку встретил я, и где ж?.. в уборной Декольтиста! — напевал он, натягивая чулки на божественные ножки «Наны».

— Ах вы, шут гороховый, — говорила уже совсем весело Льговская. — Ну, едем за это ко мне ужинать, господа; вы его вполне заработали!

— Как, втроем?! — разочарованно прошептал певец. — Благодарю, не ожидал...

— Я с вами попрощаюсь здесь! — сказал с поклоном Рекламский. — Я вас еще не поблагодарил за вчерашнее... Надеюсь, вы не забыли моих *убеждений!*.. Мне у вас нечего делать!..

— Я вас не понимаю! — воскликнула притворно Клавдия. — Вы, кажется, начали бредить.

IX

«ХОДАТАЙ» ПОЛУСОВ

На следующий день «дебюта» Клавдия проснулась очень рано. До четырех часов ночи ей не давал спать «баритон», и она прогнала его домой.

— Я устала... Уходи, — заявила откровенно «звезде» новоиспеченная «Нана». — Мне завтра нужно рано вставать!

Как ни не хотелось Выскочкину уходить из тепла на свежий весенний воздух, а пришлось: Клавдия не любила повторять свои приказания два раза!

После ухода певца Клавдия забылась, но ненадолго, тяжелым, беспокойным, похожим на кошмар сном.

В восемь часов она уже была на ногах... Гнев, досада сосали ее оскорбленное сердце... Она не могла без содрогания вспомнить вчерашний вечер.

«Но кто же в этом виноват? — уясняла она себе. — Никто! Печальное стечение обстоятельств!»

Чтобы чем-нибудь отвлечь себя от грустных дум, Клавдия стала подсчитывать свои приходы и расходы. Пока все было вполне благополучно, а потом, пожалуй, будет несколько трудненько без Полушкина.

«Кстати, как он скоро вчера исчез из моей уборной! — продолжала Клавдия размышлять. — Послушный стал зверек! — Далее Льговская вспомнила, что праздники не за горами, а там и переезд на дачу. — Придется, пожалуй, с Полушкиным помириться: я так привыкла к его “пустынной” даче в вековом парке, недалеко от Кунцева и Москвы-реки!»

Льговская могла «мыслить» до бесконечности. Размышление было одним из ее любимых занятий... Но поклонники постоянно отвлекали ее от философии... Так было и теперь...

Раздался звонок, другой. Горничная то и дело извещала о прибытии совершенно незнакомых личностей, явив-

шихся к Клавдии, как к новой великой артистке, засвидетельствовать свое почтение.

— Никого из незнакомых не принимать! — строго приказала Клавдия. Она так боялась, что в числе их придет и вчерашний сумасшедший крикун и ругатель.

Но вот горничная подала карточку Полусова. На обороте ее было предупредительно вписано довольно малограмотно: «Родственник Полушкина. Желаю видеть по делу».

— Проси! — сказала Клавдия. — Полусов, Полусов! — говорила она про себя. — Где я слышала эту фамилию? Ба! да не с его ли дочерью я училась в гимназии?

— Мо-о-жно? — заикающимся голосом спросил входящий к Клавдии седой, среднего роста господин с козлиной бородкой.

— Пожалуйста! — приветливо сказала Клавдия. — Прошу покорно садиться.

— Я к вам от всей семьи-и Полу-у-у-шки-ных, — начал он. — Пожалейте вы нас. Наш Коко совсем без вас с ума сходит. Простите его, дурачка.

— Я на него и не сержусь, — ответила нежно Клавдия. — Он просто мне надоел... Пусть немного обождет и полегчает от нахальства.

— Он и так лечится! — воскликнул гость. — Но лекарства от любви не помогают. Простите его, умоля-а-аю вас.

— Дайте срок, я подумаю. Кстати, ваша дочь не училась со мной вместе в гимназии? — и Клавдия назвала Полусову свою гимназию. — Потом, не родня ли вам Надя Мушкипа?

— Родня! — удивленно и вместе с тем тревожно ответил Полусов на второй вопрос. — По-о-чему это вас интересует?

— Вы не были ее опекуном? — не отвечая прямо на его вопрос, спросила Клавдия.

— Бы-ыл.

— А зачем вы ее опекли?

— Я вас не понимаю. Она разве та-ара-а-кан, чтоб ее опечь или запечь...

— Не притворяйтесь и не острите... Я все прекрасно знаю. Сознайтесь, что вы обидели сирот, и я возвращу к себе вашего Коко! Согласны?..

— Напрасно вы, суда-арыня, меня обижаете! — воскликнул жалобно Полусов. — У Нади еще были опекуны, кроме меня, — ее мачеха и купеческий брат Верхнеудинцев... Последний ее и опекал... Я человек богатый и бездетный, а у него восемь дочерей, и всем приданое подавай!..

— Почему же вы, — не отставала Клавдия, — видя грабеж, не вступились, как опекун, за интересы сирот? Вы тоже, я думаю, от незаконной дележки чужого добра не отказались... Я хочу знать, правду ли мне говорила про вас Надя Мушкина? Я ведь никому, даже ей, не скажу. Сознайтесь, это мой каприз, и я прощу вашего глупого Коко...

Полусов побледнел. Желание угодить Полушкиным бололось с нежеланием сказать правду. Он, как и все старинные купцы, жил чисто внешней жизнью и гордился только своей показной честностью: внутренней для него не существовало, как не существовало и жизни без прописных, обыденных истин, т. е. без того фанфаронства, которое заклеил еще покойный Островский.

— Врет Надька! — уже сердито сказал Полусов. — Я ее единственный благодетель: и приданое богатое сделал, и деньги ассигновал, только в ней бес сидит: не хочет выходить, за кого мы, старшие, хотим, а за какого-то своего музыканта голопятого. Нет, шалишь, знаем мы этих стрекулистов... Деньги возьмут, протранжируют, а потом к тебе: дай еще, а не дашь — давай отчет по опеке!

Клавдия терпеливо выслушала эту гневную тираду и по окончании ее вновь сказала с улыбкою Полусову:

— Так вы не сознаетесь?

— Не могу же я на себя преступления возводить! — уже досадливо ответил Полусов. — Хотя и очень хочется помочь Коко и утешить его родителей, но...

— Если нет, так до свиданья. Нам говорить с вами больше нечего... Я сама могу помириться!..

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ВЛЮБЛЕННЫХ

Лето было в самом, что называется, разгаре. Клавдия уже давно жила вблизи Кунцева, на даче Полушкина, с которым она без всяких посредников, встретившись как-то на Пасхе в одном из театров, помирилась. Льговская, в полном смысле этого слова, отдыхала. «Понедельники», «четверги» и прочие «дни» разлетелись кто куда: остались только Полушкин и Наглушевич.

К фельетонисту Клавдия питала враждебное чувство за грязный, клеветнический пасквиль, написанный про нее борзописцем в одном из уличных листков. Чтобы чем-нибудь досадить за это Наглушевичу, Льговская страшно увеличила свой гонорар... Однако фельетонист редко, но метко посещал Клавдию. Испорченный до мозга костей, он не мог забываться в объятиях других женщин, у которых «было то, да не это».

Частыми гостями «пустынной» дачи Клавдии были Елишкина и Надя Мушкина. Елишкина, по обыкновению, занимала, по наущению супруга-либералиста, «позорные» деньги Клавдии, причем при займе она каждый раз говорила: «Господи, какой мой муж негодяй: ни рожи, ни кожи! По улице совестно с таким плюгавым ходить. Если бы не дети, прямо ушла бы, куда глаза глядят... Пожалуйста, дай, Клавдия, а то пошлет занимать “аржаны” у Буйноилова, а, он противный, сальный старик!»

Надя Мушкина посещала Льговскую бескорыстно. Она прекрасно понимала, кто такое Клавдия, но грязное к чистому не пристанет: она по-прежнему любила свою милую, добрую подругу! Она ни в чем не винила ее!.. Ей казалось, что виноваты во всем эти животные-мужчины!.. Надя Мушкина никогда не выходила к поклонникам Клавдии и не знакомилась с ними, и Льговская была настолько «тактична», что не настаивала на этом и не обижалась на свою единственную подругу, которая одна не откачулась от нее...

Клавдия изо всех сил старалась чем-нибудь смягчить горькую участь сироты, живущей у своей замужней сестры, Самеевой. Сердце ее обливалось кровью, слушая печальные рассказы Нади, как ей тяжело живется и как мучаются ее брошенные на произвол судьбы грабителями-опекунами братья... Один из них недавно, будучи меланхоликом от природы, даже утопился. Сколько раз Клавдия предлагала Наде денег или свою протекцию: устроить остальных братьев, но Мушкина и слышать не хотела об этом. Льговскую очень обижали и даже сердили такие отказы: она инстинктивно догадывалась, что Надя ее любит, все ей прощает, но принимать какие-либо одолжения от *нее* и от ее любовников она не желает.

Только сегодня утром она согласилась на следующую хитрость Клавдии: завтра скаковое Дерби! Льговская поставит на *счастье* Нади пятьсот рублей на какую-либо лошадь и, если она выиграет, то всю прибыль, за исключением своих пятисот рублей, Клавдия отдаст ей... «Она ни за что не согласилась бы, — сказала про себя Льговская, — и на эту комбинацию, если не желала бы выйти поскорее замуж за своего “стрекулиста”, как выразился о музыканте Полусов. Деньги ей теперь нужны до зарезу. Полусов ничего не дает. А ей надо кое-что сделать, свадьбу устроить, а затем и гнездышко... Далее, необходимы деньги на первое время, чтобы жить, пока кто-нибудь из “молодых” получит место. Обо всем этом Надя мне сегодня рассказала... Посмотрим, счастлива ли она? Если же нет, я, все равно кое-что дам ей и скажу, что выиграла. Она, чудачка, сильно уверена, что лошадь *не придет*. “Для счастья”, завтра вечером она даже за ответом пришлет своего возлюбленного... Что ж, посмотрим, хорош ли он? Музыкант очень меня интересует! Теперь, я думаю, Надя уже доехала до своей резиденции у сестры... Представляю, как та взбеленится, узнав, что Надя, несмотря ни на что, все-таки выходит за нищего! Жаль только, что эта глупая свадьба будет летом: я лишаюсь в лице Нади лучшего собеседника!.. С кем я теперь буду купаться? С кем искать грибы?.. Придется пригласить Елишкину, хотя я и ненавижу ее за мужа, либералиста-фарисея... Воображаю,

как он злится, видя, что торжествует порок и угнетена добродетель в лице его... Хороша *добродетель*, нечего сказать! Особенная, с кисточкой, как выразился бы Наглушевич. Я хотя и потерянная, как говорят в деревне, но толк в добре и зле понимаю и прямо заявляю, что предпочитаю откровенных “проститутов” мысли, Наглушевичей, этим ходячим, избитым либеральным истинам — Елишкиным. И не одна я отличаю Наглушевичей, отличают их и предприниматели-издатели и платят им за продажность, талантливую продажность, такие бешеные гонорары, от которых, при одной мысли о них, расстройство гнилого рассудка и катарального желудка делается у Елишкиных. Я очень рада, что пригласила Наглушевича сегодня к себе. Он обещал привезти с собой Рекламского... Поэт — единственный мужчина, не поддавшийся моим чарам после того, как я внезапно отдалась ему на квартире... Он действительно правду говорил, что может женщину *любить* только один раз. Это, по-моему, уродство и ненормальность. Однако, я все-таки была бы рада, и очень рада, его приезду».

ХІ

НОЧЬ ЗА «ДЕРБИ»

Наглушевич приехал один, без Рекламского.

— Мне нужна на завтра тысяча рублей, — этими словами встретила фельетониста Клавдия. — Если у вас их нет, можете отправляться обратно в Москву.

— Я вам привез их, — покорно ответил фельетонист. — Извольте, вот они. Я добыл их на рынке печатного слова, где честь, правду, совесть, — все продают. Мы размениваем на нем свою кровь, сок своих нервов на звонкую монету. Каждый час *писания* приближает нас к смерти... Вот как легок наш труд!..

Клавдия поняла в его словах намек.

— Я, — сказала она презрительно, — тоже продаюсь и мне совершенно лишнее знать: с трудом или без труда, с мукой или без мук достались вам эти деньги! Плох тот купец, который будет расспрашивать каждого покупателя, откуда он достал деньги для покупки у него товара...

— Вы меня не поняли, неоцененная, — фамильярно сказал Наглушевич. — Я просто хотел поделиться с вами, как с умной женщиной, своими мыслями.

— Со мной? Мыслями! Будет льстить, — воскликнула Клавдия. — А кто про меня писал, что говорить со мной можно только после «пьяного» ужина? За «опубликование» этого «разговора» я увеличила по отношению к вам гонорар... Но будет философствовать! Едете завтра на Дерби?

— Что ж, я не прочь, — ответил устало фельетонист. — Я всегда рад лишний раз посмотреть, как горсть умных людей будет стричь полчища глупых баранов.

— Неужели вы не будете играть?

— Благодарю вас! Это на последнюю-то тысячу, оставшуюся у меня и не отданную вам, на которую я должен жить целый месяц?

— Я дам вам взаймы, хотя у меня у самой мало пороку. Я обещалась выиграть *приданое* своей подруге, поставить,

на ее счастье, на одну лошадь, скачущую на «Дерби», пятьсот рублей.

— Какое безумие: доверять лошади такую сумму!

— Я с удовольствием доверю этот капитал вам и не буду ставить его в тотализатор: отвечайте мне своими пятьюстами рублями, что выбранная мною лошадь проиграет.

— Я согласен... Вот афишка, я не забыл ее, по вашему приказанию, привезть. Выбирайте лошадь!..

— Нет, зачем же: я выберу ее завтра.



Когда Наглушевич и Клавдия подъезжали на лихаче к скаковым трибунам, скачки уже начались, хотя приз «Дерби» и был еще «далеко».

Громадная толпа зрителей гудела, и звук этого стихийного общего говора был похож на жужжание какого-то гигантского шмеля, пойманного и удерживаемого насильно в платке... Огромный «стадный» шмель был также пойман на скачках еще меньшим по размеру и пропорции платком — тотализатором. На всех лицах без исключения, юных, старых и молодых, был написан один «идеал», одно «желание»: стяжать что-нибудь при взаимном закладе денег, попользоваться чужим промахом или несчастьем и обогатиться на счет своего ближнего при любезном содействии «бесчувственного» тотализатора.

Льговская с фельетонистом заняли ложу на кругу, чтоб яснее видеть «разноцветную икру из людских голов» в трибунах на противоположной стороне. Когда Клавдия проходила мимо плотной стены из живых «манекенов», стоящих по обеим сторонам проходов, никто не обратил на ее красоту внимания... Все были заняты одной мыслью: какая придет лошадь и сколько за нее дадут?! На всех устах теперь было одно божество — выигрыш! Вся публика жила вне времени и пространства... Все произносили одни только «клички» скакунов... Они были — первые кумиры, и клички их так и носились в воздухе, и, кажется, вся великая Москва

была наполнена ими. Если свежий и незнакомый человек попал бы на это «мытарство» людей и животных, он обязательно подумал бы, что он находится или среди сумасшедших, выкрикивающих членораздельные звуки: «Ле-Сорсье», «Ла-бель-о-буа», «Гьюфа», «Пульчинелла», или среди каких-то неведомых иностранцев. Недаром «Дерби» считается одним из выдающихся празднеств столицы. Посмотреть на него, на «сливки общества», съезжаются из далеких городов. Многие портнихи носят специальное название «дербисток» за исключительное шитье нарядов для дам света и полусвета к торжественному дню «Дерби». Газеты переполнены стихами и статьями, посвященными «громадному» призу. Всякая газетная тля строчит в этот день о скачках, рассуждает с видом знатока о шансах лошадей, понимая в них не больше, чем известное «вкусное» животное в апельсинах.

— «Какая смесь всех будет наций!» — читает вслух перед самым розыгрышем «Дерби» какой-то, очевидно, успешный все проиграть господин. Ему осталась только поэзия!.. Он ею и наслаждается, штудирруя громко один из спортивных листков с другим субъектиком, тоже, очевидно, прогоревшим. — «Какой великий будет съезд из всевозможнейших плантаций роскошных, пышных “львиц-невест”. Какие будут туалеты! Да, отличатся москвичи! Все будут “ярко” так одеты, сердца все будут горячи!»

— Даже чересчур «горячи», — критикует проигравшийся господин стихи. — Нет, в другой газетке стишки луч-ше. — И, вынув из бокового кармана новый листок, горе-тошник читает со смехом: — «Дерби скачек день бесценный! Все пред ним и тлен, и чушь!.. Не страшась жены презренной, на Ходынку едет муж. Все портнихи сбились с толку и наряды дамам шьют... Зубы муж кладет на полку, говорит друзьям: “Капут! Черт побрал бы все наряды, нет «аржанов» на игру! Обирать нас жены рады, деньги мечут, как икру”...»

Жара была страшная. Казалось, солнце заодно действует с тотализатором, разжигая страсти...

При гробовом молчании толпы, красивой группой двинулись «дербисты» от столба; костюмы жокеев были всех цветов радуги, и много «тотошкинских радужных», поставленных на них в тотализаторе, вез на себе каждый из наездников. Когда лошади скученной толпой были за несколько сот метров до выигрышного пункта, вся «масса», как один человек, зарычала: каждый «призывал» свою лошадь...

Клавдия также очень волновалась... Она держала пари с Наглушевичем и, притом, еще дала двести рублей на съедение тотализатору... Но тревога Льговской была напрасна: Клавдия выиграла! Счастье Наде Мушкиной первый раз улыбнулось, но к благополучию ли?!

— Я готов проиграть вам еще и последние пятьсот рублей! — воскликнул фельетонист. — Выбирайте вашу лошадь!..

Клавдия посмотрела в афишу и выбрала.

— А, здравствуйте, Наглушевич! Как играете? — пьяным голосом «допрашивал» фельетониста, подойдя к его «незащищенной» ложе, совершенно плешивый, бездарный «гражданский» поэт, некий Безделев. — Я вот с «издателем» здесь Илюхиным орудую. Хочет, ловкач, меня «Дерби» умастить, чтоб я защитительную статейку тиснул в «Помойной яме»... Просит, шельма, его воровское имя реабилитировать и честных людей оклеветать. Что же, с удовольствием, — нас за клевету не раз уже били, даже здесь, на скачках!..

Наглушевич презрительно молчал. Поэт без слов понял «генерала» и быстро исчез.

— Что это за шут? — спросила Клавдия.

— Да так, — раздраженно ответил Наглушевич, — одна дрянь... На средства жены живет и клеветой в прессе промышляет: не стоит говорить!

Начались скачки на другой крупный приз...

Клавдия снова выиграла. Наглушевич, вне себя от проигрыша, попросил у Клавдии на счастье сто рублей и первый раз в жизни сделал глупость: пошел и поставил их «в сердцах» на какую-то лошадь в ординаре.

Как оказалось после, скакун, выбранный Наглушевичем по инстинкту, был превосходный; на нем должен был ехать знаменитый жокей-негр, и поэтому игра сложилась

на него.

Наглушевичу долго пришлось ожидать «счастья»: случилась катастрофа.

Негр с горя, что проиграл «Дерби» и пришел вторым, напился и выехал на состязание совершенно пьяным... Он даже качался на седле...

Зрелище было глубоко возмутительное... «Дикаря», однако, не сняли насильно с лошади культурные люди: они боялись скандала: вдруг скакун под другим наездником проиграет! Негр, как обезьяна, прыгал на лошади. За проигрыш «Дерби» неразумная публика освистала своего любимца. Самолюбие «черного человека» было оскорблено... Глядя на публику, он скалил бессмысленно зубы, плевался и вообще вел себя, как ненормальный человек... Он, как дитя, прижимался только к лошади, передавая ей одной свое горе, свою злобу. Он ласкал ее, целовал ее морду... Но лошадь не поняла его, как и толпа... Она сбросила пьяного жокея с седла. При падении, нога негра застряла в стремяни, и испуганный жеребец стал бить несчастного задними ногами. Произошел переполох. Взбесившуюся лошадь едва поймали, но было уже поздно: знаменитый маэстро был мертв!.. Все темное лицо его представляло из себя бесформенную массу. Негра унесли, а публике, не могущей заметить на физиономии жокея, благодаря черноте кожи, страшных ран, заявили, что «знаменитость» жива и только слегка «контужена».

Скачки продолжались своим чередом, и, что всего удивительней, лошадь, убившая человека, не была снята! На ней заставили за безумные деньги скакать другого «маэстро», не менее искусного, чем негр.

«Руки» артиста сделали свое дело, и «убийца» выиграл.

Наглушевич, потерявший было надежду на «счастье», взял, после долгих ожиданий, на сто рублей солидный куш.

ХП

СОБЛАЗНЕНИЕ ЖЕНИХА

Когда Клавдия, после обеда у «Яра», приехала на дачу, жених Нади уже явился за результатом.

Музыкант был очень скромный и весьма привлекательный на вид юноша.

Он напомнил Льговской покойника Смельского. И этого было достаточно, чтобы прежняя злоба за свою, так рано разбитую смертью, жизнь снова воскресла с прежней силой в сердце «вакханки».

Эта злоба перешла в зависть к счастью Нади. Клавдия вспомнила, что, по отношению к ней, Мушкина была все-таки как-то обидно-щепетильна, отвергала *ее деньги и помощь ее поклонников*, уклонялась от знакомства с ее друзьями, словом, полупрезрительно-полуосторожно любила ее. Льговской захотелось, болезненно захотелось разрушить ее счастье, причинить лучшей своей подруге муки... Она прекрасно помнила свои недавние «злые и жестокие ощущения» при гибели негра на скачках. Она, понятно, *громко*, как и все, возмущалась, но в глубине души сожалела, что лошадь скоро поймали и «освободили» негра.

— Я сейчас буду готова к вашим услугам! Только переоденусь в более легкое платье, — приветливо сказала она музыканту. Через несколько минут она вышла в прозрачном, с большими «открытиями» костюме.

— Какая страшная жара! — говорила она. — Несмотря на вечер и закат солнца... Дышать нечем!.. Я хочу пойти купаться... Не проводите ли вы меня?

Глаза Клавдии как-то особенно смотрели на юношу. Он чувствовал что-то недоброе и, вместе с тем, чудное, привлекательное, зовущее в этом грешном взоре...

Видя его замешательство, Клавдия воскликнула:

— Не бойтесь: я не скажу вашей невесте, что вы провожали меня в купальню.

Намек был ясен, и музыкант, как очарованный, не мог сопротивляться...

До купальни было двадцать минут тихой ходьбы.

— Что же, вы очень любите свою невесту? — спрашивала Клавдия, слишком нежно опираясь на руку музыканта. — Надя девушка хорошая, но неужели вам не нужна свобода, и вам никогда не нравились или не понравятся другие женщины?

Жених молчал. Чистый образ его милой Нади совершенно заслонял этот — порочный, сладострастный... Он чувствовал, что он не в силах бороться с его властью.

— Что ж вы молчите?! — страстно, заглядывая музыканту в глаза, шептала Клавдия. — Не можете ответить?.. Колеблетесь?.. Я вам, например, не нравлюсь? Нет?

Желание, вместе с мучительным сознанием невольной измены невесте, изобразилось на красивом лице юноши.

Льговская слишком хорошо поняла это, и злоба еще сильнее заволокла все ее добрые чувства, и она, во что бы ни стало, решила завладеть женихом.

— Если вы так любите свою Надю, — заметила она с иронией, — то пойдемте вместе со мной в купальню... Надеюсь, я не соблазню вас! Что же касается меня, я не стыжусь вас, а потом — уже наступили сумерки!

Музыкант понимал, что она «играет» с ним, но ее наемки над его чувством также возбудили в нем злобу и уже по отношению к ни в чем не повинной Наде, имевшей несчастье послать его за «результатом счастья».

— Что ж вы опять молчите? — воскликнула Клавдия. — Молчание — знак согласия. Тогда идемте!

И не успел музыкант дать себе отчета, как он уже был с Клавдией в купальне и целовал, безумно целовал ее освободившееся перед купанием «бестканное» тело.

Отпустив своего милого за «счастьем» к Клавдии, Надя Мушкина стала страшно мучиться... Ревность закралась в

сердце невесты: она слишком хорошо знала свою подругу и ее непобедимую красоту. Вне себя от сделанного промаха, она сейчас же поехала вслед за женихом на дачу Льговской. Один из частых, идущих друг за другом дачных поездов благополучно домчал ее до Кунцева...

С сердечным замиранием она взошла на балкон дачи Клавдии и сейчас же узнала от нетактичной горничной, что барыня ушла с каким-то господином купаться. Это неосторожное, неточное слово глупой горничной как громом поразило Надю.

Предчувствуя любящим сердцем, которое редко обманывает, что-то дурное, она побежала по направлению к купальне. Была абсолютная тишина. Лес заснул, как замороженный... В воздухе был слышен каждый звук, каждый шорох.

Приблизившись тихо к купальне, Надя слышала смех и говор... Сомнения не было никакого: они были вместе в купальне... Вот слышались поцелуи... Страстный шепот... Наконец, ясный голос жениха...

Как помешанная, Надя побежала назад, в Кунцево.

ХІІІ

«УБИЙСТВО» ПОДРУГИ

Во время обратного путешествия у Нади живо созрела в мозгу мысль «покончить с собой». У нее ничего «светлого» больше не осталось в жизни! Ее страстная любовь страшно поругана в самом начале! И хорошо, что это так случилось: очевидно, он не любил ее так, как думала она... Наде припомнилось тяжелое, беспросветное детство... Попреки родных черствым куском хлеба!.. Полнейшее одиночество... Гибель и нищета родных братьев... Жестокость окружающих людей... Начало «ясного» луча в жизни, так скоро угасшего и так загрязненного теперь Клавдией...

Надя не питала к подруге никакого враждебного чувства за разбитие иллюзий. «Чем она виновата, — размышляла она на скором ходу, — такая уж она родилась! Она сама себе не рада... Она могла соблазниться его молодостью, красотой... Чувственность Клавдии плохо рассуждает и никого не щадит... Но он, как он мог променять меня! Ведь я ему прекрасно объяснила, *кто она*. Нет, очевидно, все мужчины таковы. Один только изменяет вначале, другой после...»

Заметив вдали станцию, Надя повернула от нее немного вправо, «подальше от людей». Скоро она подошла к полотну дороги. Заслышав шум поезда и увидев его огненные глаза, молодая девушка положила голову на рельсы и замерла...

Машинист заметил какую-то фигуру, лежащую на рельсах, но поезда, шедшего полным ходом, остановить сразу не мог...

Голова Нади была далеко отброшена в сторону...

Поезд остановился... Испуганные пассажиры выбежали из вагонов... Со многими дамами, увидевшими обезображенный труп несчастной «невесты», сделалось дурно...

«Прислуга» хладнокровно подобрала остатки только что жившего и невыносимо страдавшего человека, и поезд тронулся.

С быстротой молнии разнеслась по станции весть о загадочной смерти молодой девушки... Любопытные, разгоняемые жандармами, толпились у трупа, но никто не знал «жертвы».

Вдруг дикий вопль огласил платформу и замолк. Это был вопль музыканта, узнавшего в обезображенном трупе свою невесту.

Возвратившись после «совместного купания», он узнал, что его искала Надя, и ясно сознавая, что это неспроста, бросился, даже не простившись с Клавдией, на станцию.

Но судьба страшно наказала его за невольную и «болезненную» измену горячо любимой невесте: он увидел только ее холодный, обезглавленный труп!

Отчаянье юноши было так сильно, что разум его на мгновение помутился: он кричал, бился головой о стол, где лежало драгоценное тело...

Дошли в тот же вечер слухи о гибели Нади и до Льговской, но «вакханка» и глазом не моргнула... Только злоба еще более затуманила ее... Она даже завидовала подруге, что та имела силу воли успокоиться. Угрызения совести за это невольное убийство Мушкиной не мучили ее... Клавдия, конечно, догадалась, что Надя подсмотрела их купание, и совершенно не жалела несчастную невесту.

— Вольно же ей было, — успокаивала себя «вакханка», — следить за своим нареченным! Если боялась меня, так зачем его было посылать «за результатом счастья»? Боже, как это все глупо! Губить себя из-за того, что мальчишка не мог устоять пред красотой... Для чего же она, спрашивается, дана, если не на это... Какая беда, подумаешь, что он изменил ей под влиянием моих чар?.. Нет, тут не любовь играет роль, а оскорбленное женское самолюбие, что я, мол, хуже ее! А как это, помилуйте, возможно!..

С этими «логичными мыслями» Клавдия спокойно уснула. Она спала так глубоко, как никогда... Она даже снов не видела...

А в то время отчаянно бился в безумном припадке жалости, угрызения совести перед трупом своей злосчастной невесты «случайный» любовник Клавдии.

XIV

ВОЗМЕЗДИЕ

Прошло две недели... Клавдия уже стала забывать «пустую» катастрофу... К ней приехала погостить со своими «крошками» Елишкина. «Литераторша», вручив своих «отродий» одной из многочисленных прислуг Клавдии, всецело отдалась в распоряжение Льговской. Она присутствовала даже при ее поклонниках...

По вечерам они ходили вместе то на круг, то в Кунцевский жалкий, бутафорский театр.

Елишкина отдыхала в обществе Клавдии от фарисейских слов и мыслей своего супруга и его друзей, «лже-либералистов». Она была даже не прочь завести легонькую интрижку «для породы» своих будущих наследников, так как родившиеся от ее собственного благоверного не удовлетворяли даже самым скромным требованиям.

Молодая дамочка вполне и утолила бы свой не особенно «глупый» каприз: приезжавший недавно и ночевавший у Клавдии ее опальный «повышенно-ценный» любовник Наглушевич обещал привезти с собой через три дня к Льговской декадента Рекламского, который чем-ничем, а дородством уже бесспорно отличался! Однако, Наглушевич явился, а поэта с ним не было... Искание «новизны» увлекло его куда-то за пределы Москвы.

— Декадент растаял, — заявил барыням фельетонист, — и на том месте, где он «расплывался», осталось грязное пятно...

На другой день после отъезда фельетониста Клавдия, бледная и усталая от денежных объятий, сидела на балконе со своей подругой Елишкиной, занимаясь питьем вечернего чая...

Товарки мирно разговаривали о том и о сем. Елишкина, по обыкновению, костила своего мужа.

Вдруг из-за угла пустынной дачи предстала перед Клавдией какая-то нелепая и странная фигура... На плечах субъек-

та висела поношенная разлетайка, на ногах были надеты какие-то рыжие баретки или, как их называют, «босовики», на голове не было шляпы. Вьющиеся черные волосы живописно обрамляли высокий лоб, и вообще «гость», несмотря на явно ненормальный вид, на воспаленные, бегающие глаза, был очень красив.

— Не узнали? — глухим голосом сказал он. — Я пришел к вам отдохнуть...

Клавдия пристально посмотрела на молодого человека и сейчас же узнала его.

Это был несчастный жених Нади Мушкиной.

— Я принес к вам с Надиной могилки поклон, — говорил он тихо и пока вполне нормально. — Далеко она, голубушка, и у меня никого не осталось на свете, кроме вас да еще одного приятеля!..

И музыкант загадочно показал на левую сторону груди.

После смерти Нади юноша совсем сошел со сцены жизни, скромную роль в которой он честно играл... Беспробудное пьянство для заглушения угрызений совести и сопряженный с «выпивкой» разврат окончательно надорвали хрупкий организм музыканта: он совершенно пал нравственно и физически заболел. Не отдавая себе отчета, он, забыв про прежнюю свою щепетильность к безнравственности, кутил и развратничал на «шальные» деньги, данные ему после выигрыша на Дерби «вакханкой» для передачи их Наде. Юноша прекрасно сознавал, что это проклятые деньги, что они в крови, и все-таки кутил на них, пока их все не спустил и не заразился страшной болезнью...

— Мне вас нужно видеть наедине... Я прошу вас утешить меня! — умоляюще и вместе с тем властно сказал вновь «случайный» любовник Клавдии.

— Идемте ко мне, — нерешительно промолвила Льговская. Музыкант ей внушал непонятный ужас, но «Нана» давно уже перестала всего бояться.

И Клавдия подала ему руку.

Когда они вошли в спальню, музыкант предупредительно запер дверь на крючок.

— Я вас пришел попросить, — почти закричал юноша, — пойди со мной еще раз искупаться!..

Тут только Клавдия заметила, что «гость» ненормален. Но в его тоне слышалось такое желание и он был так красив, что Клавдия почти не сопротивлялась, когда юноша, задыхаясь, привлек ее к себе.

— Если ты не захочешь быть снова моей, — ни с того, ни с сего прошептал злобно музыкант, — я тебя убью! Вот он, мой «приятель»! — и юноша, показав опять на левый бок, вынул из бокового кармана револьвер. — Будь же моей!

Клавдия инстинктивно попятилась от безумца...

Музыкант взвел курок...

Клавдия и тут не струсилась, но погибнуть так глупо она не хотела. В жизни так много хорошего, привлекательно-порочного... Сколько еще раз можно завладеть такими красивыми мальчиками, как этот!..

В безумии музыканта она видела что-то невыразимо-сластолюбивое, напомнившее ей «объятия» Рекламского. И вдруг умереть без удовлетворения этих ощущений?..

Быстрым, кошачьим прыжком она мигом подскочила к безумцу и вырвала из его рук револьвер, причем раздался выстрел и пуля попала прямо в портрет Смелского, по-прежнему висевший над кроватью Клавдии.

Выстрел произвел страшный переполох в доме...

Но ни Клавдия, ни музыкант не обратили на это смятение никакого внимания. Для них ничего не существовало, кроме страсти.

Безумный юноша, не подозревавший, что он болен страшной болезнью, обнимая Клавдию, невольно мстил ей за смерть своей невесты... Целуя страстно вакханку, он передавал ей заразу и осуждал ее в будущем на медленное, мучительное прозябание.

Часть третья

«МЕСТЬ МЕРТВЕЦА»

Только что начался новый академический год... Студенты-медики и профессора мало-помалу съезжались, и клиники, не сегодня-завтра, должны были открыться. Желающих лечь в клиники было большое количество. Но званых много, а избранных очень мало... В числе первых и уже «записанных» кандидаток была Клавдия. Она жила еще на даче, хотя летний сезон давно окончился...

Болезнь у нее началась с пустяков... После трех-четырех недель со дня «визита» к ней музыканта, у Льговской появилась на губах небольшая ссадина. Она на нее не обратила бы никакого внимания, если не знала бы «подробностей» смерти скоропостижно скончавшегося от пьянства в одном из ночлежных домов жениха Нади...

Клавдия приняла все меры, чтобы оградить как себя, так и своих поклонников от неприятных последствий этих «подробностей». Несмотря на то, что у нее была страстная, животная, не привыкшая к воздержанию натура, она совершенно отклоняла все «реальные» ухаживания своих друзей...

Ссадинка на губах «вакханки» явилась как раз в то время, когда она уже перестала бояться «последствий».

Клавдия тотчас же поехала к знаменитому профессору-специалисту на Мясницкую...

Осмотрев ее, профессор категорически заявил, что у ней сифилис.

— Но вы не отчаивайтесь! — ласково прибавил он к своему суровому «анализу». — У вас, кажется, есть хорошие средства, а, самое главное, молодость, и мы вас совершенно вылечим. Будьте только терпеливы и аккуратно исполняйте мои приказания.

Профессор прописал ей рецепты и дал адрес массажистки-фельдшерицы.

— Она вам все расскажет, — сказал, прощаясь с Клавдией, старик-доктор, — и поможет делать втирания...

Льговская спокойно выслушала это страшное «констатирование» и без отчаяния покорилась ему.

Мысль ее занята была только тем, как бы искуснее скрыть свою болезнь до выздоровления ото всех. Она прекрасно знала, что обаяние ее, как и акции, от раскрытия «тайны» сильно обесценятся.

Но скрыть ей своей болезни не удалось.

Немного погодя все тело ее покрылось сыпью, как крупинками, а через неделю эти крупинки обратились в маленькие нарывчики... Лицо также было покрыто ими...

Профессор еще ласковей принял Клавдию (за первый визит Льговская оставила ему сто рублей) и откровенно ей заявил, что у ней редкая, тяжелая, но вполне излечимая форма пустулезного сифилиса.

— Вам лучше всего лечь, — разъяснял ей знаменитый дерматолог, — в клинику. Лицо у вас будет покрыто большими нарывами, а потом ранками. Там вам будет спокойнее, а самое главное, у нас уход хороший и брезгливости в нас нет: мы привыкли и не к таким «красивым» больным! — И при этих словах профессор улыбнулся. — А потом, — продолжал ученый, — вы и науке послужите. Форма болезни у вас, для желающих быть в скором будущем докторами, очень интересная. Приезжайте хоть завтра, я для вас сегодня же все там приготовлю. Если желаете, я прикажу вам отвести отдельную комнату, она будет стоить недорого.

— Нет, зачем же! — устало проговорила Клавдия. — В общей палате будет веселей.

— А вы не боитесь видеть всегда перед глазами «безобразные проявления» болезни? Смотрите, я вас предупреждаю!

— Бояться было бы глупо, когда сама, может быть, будешь хуже.

— Ну, уж это неправда. Мы вас до этого не допустим. Болезнь вы захватили вовремя.

На другой день Клавдия, взяв с собой кое-что из белья и заложив все свои драгоценности за полторы тысячи рублей, так как денег у нее почти никогда не было, — она была страшная транжирка и жила не по средствам,— отправилась, не сказавшись никому, на свою новую квартиру.

Хорошо еще, что у Клавдии были драгоценности. Без них ей пришлось бы туго. Полушкин из рассказов прислуги понял, по приезде своем из месячного «отпуска», чем заболела Клавдия, и тотчас же реализировал ее богатую обстановку на квартире в Москве и на даче, которые были сняты на его имя. Выручив от самовольной продажи чужого имущества «кругленькую» сумму, он отдал ее папà на дела благотворения. Только картину Смельского «Вакханка» он пощадил и повесил у себя в кабинете, хотя, может быть, эта пощада для «красоты» была хуже лютой казни: быть перед глазами получеловека, полупоросенка!

II

КЛИНИКА «КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

Окрашенное в зеленоватую краску здание только что недавно выстроенной «кожной» клиники уже блистало электрическими огнями, когда Клавдия с закутаным лицом подъехала к нему.

Профессор все «устроил», и Льговскую очень ласково приняли... Ее удивительная красота, хотя и обезображенная пустулами, всех подкупала.

Клиника славилась своими образцовыми порядками и идеальной чистотой... Клавдию первоначально повели в ванную комнату. Пожилая нянька аккуратно, не тревожа болячек, раздела ее и усадила в большую мраморную ванну. Белье Льговской дали «больничное», грубое, но она попросила принести из чемодана свое... Желание ее охотно исполнили. И, надев поверх нижнего белья «казенный» халат, Клавдия пошла на второй этаж, в палату.

В огромной, просторной, с высокими потолками комнате стояло двенадцать кроватей, но заняты пока были только четыре. У двух больных, молодых девушек, была такая же, с маленькими разновидностями, форма болезни; рядом с ними лежала женщина средних лет, у которой болезнь внезапно бросилась на глаза, и она умоляла профессора, по ее мнению — волшебника и чародея, — положить ее в клинику и спасти. Самая тяжелая и неприятная больная была девочка лет 15-ти, почти ребенок... У ней был сифилис мозга... Она металась от страшных болей на кровати, плакала. Лицо ее было совершенно чисто, но хрупкое тельце было в пролежнях, еще более усиливавших ее тяжелое, невыносимое страдание. Из истории ее болезни было видно, что ее заразил какой-то студент, снимавший у ее бедной матери комнату... Весной девочка сошлась с ним, а в начале июня «донжуан» уехал, оставив по себе очень хорошую память.

В общем, палата не произвела на Клавдию того грустного впечатления, о котором говорил профессор. Напротив, вид чужих, еще более упорных мук облегчил ее собственное, сравнительно ничтожное горе.

— У нас в палате, слава Богу, ничего! — сказала Клавдии соседка по кровати, молодая девушка, — а вот в следующей просто ужас, какие страшные больные! Особенно страшна какая-то сельская учительница. Она прямо-таки живо, в два месяца после заражения, разложилась. Доктора день на день ждут ее смерти и смягчают ее страдания морфием. Без него она не может спать. Нос, глаза, губы у ней провалились. Немногим лучше ее и другие больные.

Клавдии, как и ее соседкам, имеющим почти такую же форму болезни, прописали одинаковое лечение: усиленное впрыскивание ртутных препаратов. Клавдия очень тяжело переносила эти уколы, а одна больная прямо-таки от них кричала, не будучи в состоянии после ни сесть, ни лечь.

Но что делать! Приходилось терпеть! Этот способ лечения был единственно радикальный, так как втирания производить было немыслимо: пустулами было покрыто все тело; другого же способа лечения, более легкого, наука еще не придумала.

В палату часто заходили студенты-кураторы, утешали больных, шутили с ними; часто и сами больные демонстрировались профессором на лекциях, и будущие эскулапы учились на «живых» язвах...

Лечение Клавдии шло очень успешно. Пустулы постепенно засыхали, и лицо «вакханки» очищалось и становилось таким же красивым, каким было некогда. Только «предательская» бледность и легкие метинки от нарывов говорили всем о страшной болезни.

За Клавдией с некоторых пор стал ухаживать один студент... Внимание это очень трогало Льговскую... Студент, оказывается, кое- что слышал о ней.

— Только как же это он не боится меня? — думала «Нана». — Что-то очень странно.

Но странность эта очень скоро разъяснилась: студент, незадолго до выписки Клавдии из клиники, откровенно при-

знался ей, что он тоже болен и лечится...

— Пожалуйста, — говорил он ей, — не забудьте моего адреса... Я живу в номерах... Ко мне всегда можно...

III

В «МЕБЛИРАШКАХ»

Выброшенная болезнью за борт роскошной жизни, Клавдия, выписавшись из клиники, поселилась в грязных, дешевых меблированных комнатах, где жил ее новый знакомый — студент. Льговская сняла себе довольно большой номер. По-прежнему такая же привлекательная и такая же чувственная, Клавдия была очень рада, что у нее есть хоть «платонический» но все же покровитель.

Вечером пришел к ней студент и оставался в ее номере до утра следующего дня...

Как всякая женщина, Клавдия не могла не посвятить будущего доктора в тайны своей прошлой жизни.

Студент очень внимательно выслушал ее исповедь, ее рассказы о прошлом величии и утешил ее, что «былое» вновь может вернуться.

— Нет, не говорите вздора, — дельно замечала ему Клавдия... — Меня слишком все хорошо знали!.. Моя болезнь теперь известна... Нет, я не желаю никого из прежних знакомых встречать! Так, право, спокойней и лучше. Может быть, кто-нибудь из моих бывших поклонников тоже был болен; только я не знала, и он ловко сумел скрыть это...

— Охота вам тосковать по этим гадам, — грустно возражал ей студент... — Мы пока друг друга любим и, надеюсь, долго не забудем.

— Вы думаете! — недоверчиво воскликнула Льговская. — Стало быть, вы меня не знаете... Я не могу жить, как я уже говорила вам, без разврата... Семейная жизнь создана не для меня. Не будет богатых поклонников, я заведу «посредственных» или пойду... Да будет заглядывать в будущее... Вы, я знаю, не любите этих разговоров.

Студент действительно хмурился. Он был здоровый по мыслям и чувствам, несмотря на болезнь, юноша. Он не понимал Клавдии и страшно ее ревновал. Она ему очень нравилась и как человек, и как женщина. Молодой «ученый»

надеялся исправить и своей любовью исцелить больную душу Клавдии.

Безумная мечта!

Пока в их совместную жизнь еще никто не врвался. Студент никого не «видел» около Клавдии. Она вели себя вполне «нравственно», проживая оставшийся от закладки драгоценностей капитал.

По вечерам у них собиралась молодежь — товарищи студента, заходили и курсистки. Они нередко играли в карты, читали что-нибудь вместе и, вообще, проводили время не скучно.

Клавдия совершенно преобразилась и стала мало-помалу отдалять от себя «блестящее» прошлое. Как довольно поверхностная натура, она ни о чем долго не сожалела и ни к чему горячо не привязывалась. Казалось, всякая, только не трудовая, праздная, чувственная жизнь могла удовлетворить ее... Одно только теперь смущало «Нану»: денег оставалось у ней очень мало!

«Неужели, если я напишу Полушкину, — думала Клавдия, — чтоб он отдал мне мою обстановку на даче и в Москве, он мне не возвратит ее? Положим, от этих Полушкиных всего можно ожидать: опека покойной Нади — яркая иллюстрация! Однако, я все-таки напишу».

Напрасно ждала Клавдия ответа от Полушкина, миллионер и не думал подавать ей о себе весточку.

Льговская передала о своих соображениях студенту.

Тот страшно возмущался, слушая повесть Клавдии. Даже легкое недоверие вкралось в его душу: он не мог себе представить, что богач может попользоваться для пополнения своих карманов обстановкой, «заработанной» телом Льговской.

— Если вы хотите, — сказал как-то раз студент, — я лично схожу к негодяю. Мы с ним объяснимся. Заупрямится — предъявим иск и опубликуем его красивый поступок...

— Да вы их не знаете совсем! — воскликнула Клавдия. — Они ничего не боятся и нагло смеются над общественным мнением. Нет, вы уж лучше пока как-нибудь помягче. Например, он взял мою картину «Вакханка» — она никогда

не принадлежала ему! За нее могут дать хорошие деньги.
Мне тысячу рублей за нее предлагали.

IV

НЕГОДЯЙ

— Я его побью, — говорил Клавдии, идя на свидание с миллионером, смелый студент, — если он не отдаст вам всего!

— Первое дело, — не горячитесь! — резонно просила его Льговская, — и не марайте рук о разную дрянь! Уломайте, по крайней мере, его отдать мою картину или заплатить за нее тысячу рублей. Я, на всякий случай, напишу вам расписку.

Студент застал молодого Полушкина у «себя» в кабинете. Баснословно дорогая, но «глупая» обстановка поразила бедного студента.

«Вот скотина!» — подумал он.

— Чем я вам могу служить, коллега? — важно спросил Полушкин, крутя свои «львиные усы». — Вы не удивляйтесь, что я так вас называю... Я целый год был вольнослушателем в «парижском» университете... Вы не юрист?

— Нет, я медик, — ответил студент.

— А я вот слегка юрист!

— Я очень рад, если вы законовед: вам легче будет объяснить мое дело! Вы мне позвольте...

— Пожалуйста...

— Вы не получали письма Льговской?

— Получил. А вас это очень трогает?! — с наглой улыбкой воскликнул Полушкин.

— Не трогает... Она мне поручила узнать о результатах ее требования.

— Требования? А вы кто ж такое будете? Ее «новый» покровитель? Неужели вы, медик, не знаете, что эта женщина больна?..

— Я все знаю. Прошу вас этого вопроса не затрагивать...

— Я и не затрагиваю... Я только хотел вас, как товарищ, предупредить... Что же касается до письма Льговской, я могу вам, как юрист, констатировать, что это шантаж...

— Как шантаж?! — нервно воскликнул студент. — Она требует от вас свою обстановку, которая ею, вы сами знаете как, заработана!

— Обстановка была моя-с, — ядовито проговорил Полушкин. — Я ее покупал; и квартира, и дача, где она стояла, — мои. Об этом все знают... Папà советовал мне представить письмо Льговской к прокурору... Но я, знаете, не люблю сутяжничать и становиться на одной доске с какой-то «больной» женщиной. Удивляюсь, какая охота вам, коллега, ходить по таким нелюбезным поручениям... Я, конечно, вас понимаю: вы не в курсе дела, но...

— А картина «Вакханка»? — раздраженно перебил наглеца студент. — Ведь она всецело принадлежала Льговской?!

— Да, это правда, коллега! Я даже ее хотел отослать, но все не собрался: у меня такая масса дел... Я помогаю папà распределять суммы на «благотворения». Я хотел предложить за нее Льговской пятьдесят рублей.

— Мне она говорила, что картина стоит тысячу.

— Тысячу? Да она сумасшедшая... Тысячу!

— В таком случае прошу возвратить ее...

— Возвратить я картину согласен, но вы уполномочены получить ее документом?

Студент показал расписку Клавдии.

— Прекрасно! — тем же пошлым тоном сказал Полушкин. — Я передумал... Я согласен уплатить этой «бедной» женщине тысячу рублей; очевидно, они нужны ей, если она решилась меня, юриста, шантажировать; только съездите, пожалуйста, и привезите сейчас же, я подожду вас, от нее другую расписочку...

И Полушкин замялся.

— Я вас слушаю, — пришел ему на помощь студент.

— Возьмите расписочку, — я хочу, коллега, избавиться от будущих недобросовестных изветов, — в том, что она всю принадлежащую ей обстановку от меня получила. Понимаете?

— Хорошо, я поеду! — вне себя от заглушенного гнева, проговорил студент.

Клавдия оказалась более его дельной и хладнокровной и мигом написала спасительную расписку.

Получая за «оправдательный» документ тысячу рублей от Полушкина, студент еле удержался, чтоб не ударить «благотворителя».

— Подлец вы! — закричал студент Полушкину, когда тот вздумал было протянуть ему на прощание руку.

РАЗРЫВ

Клавдия закутила. Она безрассудно стала тратить деньги, как будто им никогда и конца не предвиделось.

Прислуга «дешевых мебелирашек» была без ума от щедрой барыни. Она отродясь не видала такого легкомысленного отношения к деньгам и открыто грабила Льговскую, беря за «покупку» самой «свежей» провизии втридорога и никогда не отдавая сдачи.

Студент несколько раз замечал Клавдии, но та даже сердилась, замечая «осторожному» юноше, что она не девочка и сама все отлично понимает.

Собственно с этих мелочей у ней и началась с студентом размолвка, кончившаяся впоследствии полнейшим разрывом.

Студент не бросал надежды на то, что он исправит Клавдию. Он постоянно, издали, говорил ей о прелестях другой, честной, трудовой жизни.

Клавдия была девушка очень неглупая и развитая и прекрасно понимала, к чему клонятся эти разглагольствования.

По правде сказать, она даже совсем их не выносила. Ей нравились смех, беззаботное «чистое искусство, безумный жар крови и мысли».

Льговская стала заметно скучать в обществе студента и избегать его.

За последнее время она познакомилась с «гражданской» супругой какого-то чиновника и часто стала бывать у них. «Супруги» моментально обласкали одинокую бедную женщину и стали бесцеремонно пользоваться крохами ее средств. Особенно этому сближению была не рада прислуга номеров: золотые деньки ее прошли и обирать ее стала одна чиновница, поступив почти в экономки к Клавдии.

Льговская ездила с «новыми» друзьями в театр, возила их на лихачах и, «скуки» ради, дневала и ночевала в их но-

мере.

У «супругов» она и познакомилась с другим студентом-медиком, живущим в тех же номерах, этажом выше. Прежний «доктор» был с ним также знаком, но они друг у друга не бывали.

Новый был разбитной, беззаботный молодой человек и жил, как птица небесная, не помышляя о завтрашнем дне. На лекциях он не бывал совсем, предпочитая волочиться за «холостыми» «номерными дамами».

Кажется, и чиновница, в отсутствие своего содержателя, не избегнула его сетей: уж очень вольно он обращался с ней, когда «самого» не было!

Клавдии он понравился сразу.

Заметив слишком недвусмысленное ухаживание коллеги за Клавдией, «прежний», сделал ей ревнивую сцену.

Льговская показала ему свои «когти».

— Свобода мне дороже всего! — сердито промолвила она в ответ на его ревность. — Кого хочу, того и люблю.

— А вы не боитесь его заразить? — хотел было хоть этим «напоминанием» вернуть к себе Льговскую «прежний».

Клавдия еще больше рассердилась.

— А вам какое дело?! — Но, прогоняя от себя, раз навсегда, незаслуженно оскорбленного любовника, она подумала:

«А что, если он скажет “новому”? Лучше уж я сама его предупрежу».

Она так и сделала, когда знакомый «чиновников» слишком стал приставать к ней...

— Какие глупости! — весело сказал ей новый поклонник. — Все женщины, особенно «студенческие», больные. Однако, мужчины их любят, и среди них еще какие рожи попадают, просто, я думаю, даже черт не соблазнится... А вы — красавица, так что об этом говорить! Я тоже медик, на пятый курс недавно перешел, и все понимаю! Притом же, вы пока здоровы... В нашей клинике больных надолго «вылуживают»...

VI

ТАЙНЫЕ ПРИТОНЫ

Деньги у Клавдии скоро уплыли. «Платонические» любовники их не доставали, и Льговская начала подумывать о будущем.

Заводить себе, при такой болезни, постоянного богатого любовника Клавдия считала нечестным и небезопасным делом: мало ли что может выйти?

Клавдия, при посредничестве «веселого» студента, познакомилась со многими уличными «этими дамами», и «практичные» особы многому научили «глупенькую» Клашу.

Они передали ей все свои треволнения, все притеснения... Клавдии было как-то неловко, ради куска хлеба, заняться их ремеслом в тех же номерах, где ее знали и где она до сего времени жила «честно»...

Она переселилась в другие комнаты и решила, по совету «бывалых» товаров, для спокойствия выправить себе билет и поступить в число «штатных» падших женщин...

Первое время ей очень повезло... От кавалеров не было отбоя. Где бы она ни ходила для «ловли» их: по Тверской, в кондитерских, — за ней всегда волочилась масса народу.

Как ни была испорчена Клавдия, но тяжелое ремесло ей очень не нравилось... Положим, чувственность смягчала ее стыд, но не совсем гасила его.

Льговская предпочитала молодых и красивых остальным, но у юнцов редко были большие деньги, и в материальном отношении дела Клавдии хромали.

Она неисправно платила за номер и была на плохом счету у хозяина гостиницы.

Как-то раз у ней произошел скандал с «гостем», и ее попросили очистить номер.

Оставшись на улице, Клавдия решила перевезти свой скарб к молоденькой подруге Мане, жившей на всем готовом у «квартирной хозяйки».

Таких «квартирных хозяек» масса по Москве промышляет человеческим телом, и полиции нет никакой возможности уследить за их незаконной деятельностью. Эти «паразитки» положительно сосут соки из своих несчастных жилищ и, как «вампиры», пьют из них кровь.

Клавдия для опыта осталась жить у квартирной хозяйки Мани.

Неглупая Льговская живо сообразила, в чем тут дело, и терпела такую «жизнь» до первого счастливого случая.

Хозяйка кормила ее, как и других своих рабынь, очень плохо и, если не угощал кавалер, приходилось жить впроголодь. Затем, она принуждала девиц любить каких-то своих «грязных» знакомых из простонародья, по которым насекомые ползали; заставляла как можно больше пить, держа у себя на квартире тайный ренсковой погреб; научала воровать у опьяневших гостей деньги, вещи. Все это крайне не нравилось Клавдии, и она постоянно воевала с хозяйкой, отстаивая свою самостоятельность и человеческое достоинство. Хозяйка ее терпеть не могла, но держала, скрепя сердце.

— Уж больно у Клашки, — услышала как-то раз Льговская отзыв о себе, — тело сусно. Мед, право слово, мед настоящий...

Прозябание Клавдии у «скорпионши» было не долго.

Льговская ей устроила скандал, в который вмешалась и полиция. Дело произошло так: к Клавдии забрел миловидный и богатый купчик. По обыкновению, хозяйка их напоила и, когда они заснули, вошла в комнату Клавдии и вынула из кошелька мальчишки несколько сотен. Наутро кража обнаружилась. Купчик стал упрекать Льговскую. Та объяснила ему, чьи эти штуки. Ни слова не говоря хозяйке, они пошли и заявили полиции.

— Иначе бы ничего не вышло! — объясняла по дороге в участок Клавдия боявшемуся больше всего «морали» купчику. — Так она их схоронить не успеет, не догадается.

Полиция приняла все заявленное к сведению и, внезапно нагрянув, нашла у хозяйки как деньги купчика, так и тайный ренсковой погреб.

VII

«ВЕСЕЛЫЕ» ДОМА

Как ни любила Клавдия свободу, а решила, раз уж по такой «специальности» пошла, закабалить себя в открыто существующий, недалеко от Сухаревки, дом. Льговскую с большим удовольствием приняли за красоту в самое богатое и дорогое заведение.

— Здесь, по крайней мере, я буду застрахована от превратностей нашей карьеры, — убеждала себя Клавдия. — Да и от забот и «мужичья» буду избавлена.

Только теперь поняла Клавдия весь ужас своей жизни, но возвращаться уже было поздно, а потом, она так любила разврат и никакую более счастливую, жизнь на него не променяла бы!

«Веселый» переулок и дома, находящиеся в нем, как и театр Декольте, были страшной, необходимой и непредотвратимой язвой нашего времени «с точки зрения какого-либо порядка и введения в рамки» разнузданности человеческой натуры. Все известные европейские ученые пришли к единогласному решению, что позорные дома не прекращают заразу и не застраховывают от страшных болезней. Многие государства, на этом основании, решили закрыть подобные «общежития» падших женщин, но «свободный», лишенный законности и известного контроля, «натурный» промысел достиг до таких страшных размеров, что администрация допустила вновь открытие подобных «коллегий». С уничтожением явных «циничных» притонов повторилась такая же история, как и с тотализатором после официального уничтожения в Германии этого бесполезного чудовища, вносящего в дело коннозаводства не пользу, а безусловный вред. Но «тайный» азарт так разросся, что поневоле пришлось вновь допустить существование «тотошки». Явная неприятность в несколько раз хуже тайной; с известным вредом, когда его знаешь, можно бороться, отчасти его обессиливая и накладывая узду, а с тайным, неопределен-

ным, непонятым, злостным «наростом» жизни «битва» почти невозможна.

Страшно подумать, что человек дошел до такого ужасного падения, которое вызвало непобедимую и необходимую «накипь» нашего земного существования — проституцию! Грустно допустить даже в «идеале», что есть целая армия несчастных женщин, которые, под влиянием нужды или удовлетворения чувственности, добровольно основывают «подружество» и рядом, отделенные друг от дружки только тонкой перегородкой, продаются за деньги первому встречному-поперечному! Мучительно больно знать, что женщины — этот перл создания и воплощение всего прекрасного, — ежесекундно унижают, при занятии позорным ремеслом, свое человеческое достоинство с незнакомыми, пылающими животной страстью мужчинами, дополняя, как бесчувственная машина, их «семейное счастье», а иногда и исключительно составляя его.

Неужели они так любят жизнь и свои скотские похоти, чтоб не отказаться от такого позора, когда различные «самцы» забываются в их объятиях!.. Мужчинам ведь не стыдно: страсть их отуманивает, случайные любовники все забывают в объятиях женщин, но они!.. Они сознательно, без всякого чувства и забвения, дарят за деньги свое измученное и, в большинстве случаев, больное тело! Искусственно сладострастничают, симулируя наслаждения! Положим, большинство «вакханок» *изводит* свой стыд вином!.. Но разве можно быть постоянно пьяной, наступает же когда-нибудь отрезвление, и тогда что?! Каждая минута может показаться за вечность!..

Чувственных, ненормально чувственных *Клавдий* бывает сравнительно мало. Такие женщины встречаются вообще редко, как аномалия; это жрицы сладострастия по призванию. Остальные же «падшие» развратничают из-за нужды. Их еще можно, при известной энергии, обратить на путь истинный, но только тем людям, которые, по божественным словам Спасителя, «души свои полагают за други своя»... Остальным же браться за это трудное дело с кое-какими «жалкими» словами и делами вовсе не следует. Ничего из

этого не выйдет, кроме взаимного недовольствия. Иногда же это недовольствие переходит в настоящую драму: полуспасенная, полусогретая и полуправленная на путь истинный, падшая женщина совсем погибает... Она не может больше ни откровенно развратничать, ни вести трудовую, честную жизнь...

VIII

ЖИЗНЬ В «ПАНСИОНЕ»

Дом, куда поступила Клавдия в «пансионерки», был большой, трехэтажный. На лестнице, у самого входа, на стене было прикреплено зеркало, отражавшее висевшую напротив картину соблазнительного содержания. Эта картина служила первым возбудителем грязных инстинктов посетителей; казалось, что они прямо «идут» на обнаженную женщину.

Клавдия очень скоро приноровилась к порядкам своего нового убежища. Осмотреться, положим, хорошо еще Льговская не сумела: она имела необычайный успех и была всегда занята кавалерами и постоянно кутила то у себя в спальне, то в номерах в «Эрмитаже», куда гости неоднократно забирали ее. Легкое утомление и частое головокружение иногда тревожили Льговскую.

«А что, если всегда так будет! — думала она про себя. — Пожалуй, ненадолго хватит?»

Но новая метла всегда хорошо метет. Клавдия даже скучала, когда была свободна, и скучала без дела дома, если ей не «спалось». За свой веселый нрав, добродушие и отзывчивое сердце Льговская сделалась «первой» любимицей товарок. Притом Клавдия была начитана, умна, много видела на своем веку, многое слышала. Все «домашние» недоразумения кончались всегда благополучно, раз вмешивалась в них Клавдия. Она «судила» строго, откровенно, с полным сознанием важности порученного ей дела; она всегда держала нейтралитет, не давая поблажки ни содержательнице, ни экономке дома, ни «разнервничавшимся» девицам. Враждебно относилась к Клавдии только одна Амальхен, необычайно полная и красивая женщина, носившая всегда в общей зале костюм «Прекрасной Елены». Она всех как-то не любила, и «гости» ее избегали: было что-то ужасное, непонятное и отталкивающее в ее огромных, красивых глазах и складках ее капризного рта. За ней води-

лось кое-что предосудительное даже с точки зрения разнужданных, свободных нравов «дома». За это кое-что немку и презирали.

При своем вступлении в дом Клавдия с ней было сошлась: Льговской понравилась ее степенность, ее гордость, так редко встречающиеся в «тех» домах. Она очень хорошо говорила по-русски, несмотря на свое немецкое происхождение, сносно играла на рояле и все свободное время посвящала чтению. У ней была маленькая библиотека... Она знала наизусть много стихов из Лермонтова, Пушкина и новейшего поэта Надсона и с большим чувством и пафосом декламировала их.

Но «начинавшаяся» дружба Клавдии с немкой живо кончилась. Как-то раз, ночью, они были обе не заняты... Немка, «ради скуки», явилась к Льговской в одной рубашке и попросила дать ей местечко на кровати. Клавдия согласилась. «Прекрасная Елена», как всегда, стала читать на память стихи; продекламировала «Египетские ночи» Пушкина и потом стала что-то требовать у Клавдии. Льговская сначала ее не поняла, а потом попросила уйти.

— Видно, и новой надоела, проклятая колбаса! — говорили в один голос подруги, услышав про ссору Клавдии с немкой.

Льговская пока была довольна своим житьем-бытьем. «Гости» в доме были «порядочные», богатые... Цены на женщин были большие. Особенно «входило» в копеечку угощение их лакомствами, вином. Последнее было самым главным доходом содержательницы, очень не любившей нахальных, «сухих», скупых посетителей. Без двадцати пяти рублей в кармане в такой шикарный притон нечего и ходить: девицы на смех поднимут! А таких сравнительно больших денег у весьма и весьма многих любителей женщин не бывает, так что посетителей в «Клаудином доме» было не особенно много. Потом, с несколькими мужчинами в один вечер женщина, по установившимся правилам, могла и отказать идти, как имела право вовсе «не пойти» со слишком противным гостем...

Всех «жертв» в пансионе было двадцать. Из них некоторые были прямо красавицы, не знавшие и не вполне понимавшие, как они могли дойти до «жизни такой». Особенно убивались «новенькие». Стыд, как ни низко пал человек, все ж иногда громко вызывает к «справедливости» и, если не казнит за потерю человеческого облика, то мучает, и невыносимо мучает, незаглохшую еще совсем совесть продажной женщины. «День» для «жертв» был прямо-таки ненавистен; они не знали, куда деть время, чем заняться! Недаром более развитые из девушек, как, например, «Прекрасная Елена», от тоски и горя делали над собою разные издевательства, умерщвляя этим изысканным, острым пороком «червя» безысходной грусти, безграничной тоски!..

Клавдия иногда видела среди «гостей» кой-кого из своих прежних знакомых и сейчас же, чтоб не быть узнанной и осмеянной, уходила из залы, блещущей огнями, полуголым женским телом и непроходимым мужским эгоизмом.

IX

ОПЯТЬ РЕКЛАМСКИЙ

Пропавший было из Москвы декадент опять появился на горизонте Клавдии. «Выплыл снова», сказал бы Наглушевич. Поэт по-прежнему был юн душой, хотя постоянное искание и увлечение новизной положили на служителя красоты печать утомления. К этому утомлению присоединилась и «обычная» болезнь — «венец» развратной жизни. Рекламский гордился недугом, как какой-либо наградой, весьма плохо лечил его. Но болезнь давала себя чувствовать обладателю ее совсем некрасивыми физическими страданиями. Декадент во время их далее призадумывался, но не надолго. Он опять и опять пускался в «неотступное преследование» новизны, и снова все московские притоны имели счастье видеть его у себя. Подорванное было «красотой» свое состояние он снова поправил свалившимся с небес наследством и охотился «вовсю». Декадент за последнее время слегка полысел, но не «поумнел». Произведения его становились все непонятнее, все безумнее. Стихи его, выходящие в свет том за томом, как из рога изобилия, подвергались страшной травле «злостных и ничего не понимающих буржуев-критиков». Но Рекламский не унывал, он писал, писал и писал, где только было возможно, свои стихи. В большинстве случаев он популяризовал их в притонах, где терпеливо выслушивали их, зная, что это слабость богатого и очень доброго, но чудного «гостя».

Во время своих скитаний по различным учреждениям, где, по мнению декадента, находилась бесстыдная красота, он встретился и с Клавдией.

Поэт кое-что слышал об ее дальнейшей судьбе, но встретить ее, гордую, важную, в общедоступном притоне он не ожидал! Льговская попросила молчать об ее прошлом, и декадент «честно» исполнил ее желание.

В «Клавдином» доме его отлично знали и любили за «щедрость». Приходу его содержательница была очень рада:

она с заискивающей улыбкой спрашивала его о здоровье и сообщала ему, что есть очень «хорошенькие» новенькие: при этом она указала на Клавдию и на «Прекрасную Елену», которую, хотя она и давно жила в доме, декаденту еще не случалось видеть: она была с кем-нибудь да занята во время его «набегов» .

Рекламскому «Прекрасная Елена» очень понравилась, но, прежде чем отправиться с ней в кабинет, поэт собрал всех «свободных» девиц в «голубую» гостиную и стал им читать свои последние произведения. Девицы, конечно, ничего не понимали, но для приличия восхищались его стихами. Они прекрасно знали, что за «восхищение» *дурачок* им что-нибудь подарит.

К началу чтения Клавдия не попала. Ее отсутствие заметил поэт и велел, если она свободна, позвать ее послушать. Льговская явилась, и поэт вновь, специально для нее, декламировал уже прочитанное раз стихотворение. Оно почему-то ему особенно нравилось.

— Прослушайте, — обратился ко Льговской декадент, — мою новую творческую думу.

И Рекламский начал читать громким, немного хриплым голосом:

Мне смерть сулит одну свободу,
Мне смерть сулит один покой,
И гнев *один* я шлю народу:
В груди его один разбой.
Пускай меня клянут за это —
Я правду всем вам говорю!
И подкупить никто поэта
Не может: вижу я зарю!
Зарю не лжи!.. Я вижу, страсти
Вам омрачили светлый день...
Вы все стремитесь тщетно к власти,
Догнать свою хотите тень.

Стихотворение, если судить по усердному хлопанью ладош, очень понравилось слушательницам.

Злобная «Прекрасная Елена», как любительница звучных стихов, больше всех хлопала; декаденту это очень было по вкусу. Он еще прочел одну вещь и, читая, все время обращался к Клавдии. «Прекрасная Елена» уже начинала ревновать к ней «вдохновенного» поэта и думала, что она обязательно его у нее отобьет.

Венка не была посвящена в их тайну, в их прежние близкие отношения!

Притом еще, она не знала «единократной» любви поэта.

ПОСТЕПЕННОЕ «ПОНИЖЕНИЕ»

Прошло два года... Красота падших женщин, особенно некоторых, отличающихся чувственностью и имеющих несчастье приобрести болезнь, очень скоро «угасает». Льговская, однако, была награждена предусмотрительной природой прочным организмом: он долго давал противовес «терниям» ремесла жертвы общественного темперамента... Клавдия очень изменилась. Когда-то идеально-правильное и прекрасное лицо ее сделалось болезненно-бледным, одутловатым, глаза сузились и вообще, красота ее пошла на «убыль». Льговская, сравнительно с другими своими товарками, дурнела «туго». Постоянная «выпивка» подозрительного вина, представлявшего из себя «дешевый» спирт с примесью каких-то «положительных» отрав, питание несвоевременное и негигиеническое, самый воздух «пансиона без древних языков», спертый, плохо, по небрежности, вентилированный, редкие «полезные» прогулки по чистому воздуху не могли, действуя дружным ансамблем, не отражаться разрушительно на драгоценной свежести продажного тела. Клавдия, постоянно наблюдая за своими «средствами» к жизни, все более и более убеждалась, что она отцветает, не успевши расцвести... Тоска и бессильная злоба при созерцании себя в зеркале начинали душить «бывшую Нану», так удачно выступившую когда-то на базаре людских инстинктов. «Наблюдения» в большинстве случаев оканчивались раздумьем и даже меланхолией. Льговская имела острый, хорошо действующий «мозг», а он не мог не резать ее перспективой расплаты за человеческую, слишком человеческую «свободу». Картины, одна мрачнее другой, представлялись ее воображению. Что она будет делать, когда пройдет еще пять-шесть лет?!.. Положим, она еще молода, ей рано заботиться о «грядущей торговле яблоками и семечками», но Клавдия не забывала, что она больна «ужасным» недугом, хотя он себя и не дает пока знать. Но Льговская

знала из книг, что он почти неизлечим, особенно при таком образе жизни, что он медленными, но твердыми шагами ведет к полутрупному существованию. Утешало Клавдию только одно, что больных такой «вещью» страшно много, особенно в торговых центрах; «ее» недуг, как спрут, обнял своими беспощадными бесчисленными щупальцами почти пятнадцать процентов всего населения цивилизованных стран. Хороша «цивилизация», нечего сказать!

— На миру и смерть красна! — говорила про себя не раз Клавдия. — Не я первая, не я последняя!..

Но в таких шатких и мало логических доводах было слишком мало дельной, настоящей соли. Хотелось быть не первой, не последней, а просто — вне этого «заколдованного мира»! Клавдии вспомнилось: она где-то читала, что есть, без смеха, один город, замечательный только тем, что все без исключения «серые» жители его — сифилитики.

«Как странно, однако, и вместе с тем разумно устроено, что “подобные” страдания посещают одних “развратников” обоего пола и ведут от них свое “родословное” дерево. Почему именно эта позорная, “местная” болезнь поражает всех нас, а не какая-либо другая?» — старалась объяснить себе Клавдия.

Однажды на врачебном «смотре» и освидетельствовании «невинности» здоровья «ремесленниц» молодой врач-специалист, осматривавший Клавдию, заметил на ее спине подозрительные пятна. При наличии других, найденных им тут же «ясных данных»: припухлости лимфатических желез, красноты в горле, врач заявил Льговской грустно: «Вы больны; вам придется лечь сегодня же в Мясницкую больницу». И, взяв листок-паспорт Клавдии, доктор сделал на нем пометку: «Больна. Сифилис. Отправить для лечения».

Клавдия не была очень опечалена «рецидивом»: она ждала его, но ее терзала боязнь мучительного лечения, которое будет теперь еще болезненнее и чувствительней, так как «нервы» были другие, надорванные.

Узнав о предстоящей временной разлуке, такой обычной в этих домах, подруги очень жалели добрую и разбит-

ную Клашку. Грустила об ее болезни и сама мадам; она далее забыла при этом, что «воспитанница» ее была уже не та, и что доходность ее тела за последнее время значительно упала.

Собрав свои жалкие пожитки и взяв у хозяйки на всякий случай десять рублей, Клавдия отлетела в Мясницкую больницу... Подруги же ее вечером в «зале» на вопрос знакомых «гостей»: «Где Клавдия?» говорили: «Отправилась на родину».

ХІ

МЯСНИЦКАЯ БОЛЬНИЦА

Огромное, старое здание «дикого» цвета, выходящее своим главным фасадом не на улицу, а на двор, было переполнено больными, страдавшими исключительно «поражениями» кожи: экземой, сикозисом, волчанкой, но главный контингент его составляли венерики всех сортов и званий; особенно в Мясницкой больнице было много «несчастливых» женщин. На всякий случай для них там было ассигновано 300 кроватей.

Клавдия заболела летом, и больных, сравнительно с зимой, в «Бекетовке» (прозвище Мясницкой лечебницы) было мало.

Льговскую положили в общую палату; в ней было около сорока «девиц» различного «разбора». Шум, гам, смех, неприличная руготня так и стояли в воздухе. Все принимаемые против бесчинства меры были паллиативами... Ни лишение более вкусной пищи, ни запрещение видаться с «котами-посетителями» не могли смирить и успокоить эти тревожные души. Одна только ночь замиряла этих полунормальных особ и заставляла стихать. Но и благодетельный сон не соблазнял некоторых неугомонных. Они проделывали для развлечения какие-нибудь невинные, а иногда и жестокие шутки над спящими подругами: одну пришивали к кровати и будили, другой клали туфли на лоб, третью, «новоприбывшую», пугали особенной группой — «покойницей». Испугали «мертвой» и Клавдию, когда она, утомленная «впечатлениями» дня, уснула. Группа «покойница» заключается в том, что какая-нибудь, сзади идущая, откидывает голову и берет руками за плечи впереди идущую, а та, в свою очередь, вытягивает руки, надевая на них туфли. Эта «процессия», покрытая простыней, тихо движется к намеченной цели, производя, действительно, в полутьме вид «покойницы», несомой по назначению...

Рано утром начинается «визитация», заключающаяся в том, что врачи впрыскивают «огненную» жидкость — меркуриальные снадобья, — в различные места тела страждущих.

Вот после подобных впрыскиваний палата обращается положительно в сумасшедший дом... Ругань, крики, истерический смех не прекращаются, но все увеличиваются, и к ним еще прибавляются стоны, оханья от «впрыснутого» кушанья... Многие несчастные положительно не выдерживают этого «единственно-рационального» лечения: они катаются от боли с полчаса по полу, плачут, бьются на кровати, проклинают докторов, косят свою подлую «жисть»... И этот Дантов ад повторяется изо дня в день!

Чтобы «заштопать» на время недуг, требуется, по крайней мере, 25-30 впрыскиваний!..

Перед обедом и перед вечерним чаем «девиц» пускают гулять в сад, или, вернее, на двор, усаженный тощими деревьями. В этом же саду гуляют и больные мужчины, но только в другое время...

Как велико стремление этих, почти совсем замученных жизнью, женщин к «мужчинской породе», можно заключить из того, что и здесь, в больнице, завязываются «платонические» знакомства!

«Встречи» сначала происходят на «расстоянии», у открытых окон, из которых выглядывают любопытные лица: «девочек» — при прогулке «мальков», мальчиков — при мoциoне «девочек».

«Далекie», но вместе с тем близкие «душки» ищут друг друга глазами, объясняются ими и в конце концов пишут письма и при бдительном сиянии очей «возлюбленных» закапывают их в импровизированный почтовый ящик — в землю. Таким образом, происходит обмен мыслей и симпатий между этими обездоленными людьми...

Ко всему может человек привыкнуть. К дурному, говорят, он приучится даже скорей. Сносила, по привычке, «боли впрыскиваний» и Клавдия и во время отдыха, один раз в неделю, когда ей прописывалась ванна и «лечения» не было, она даже тосковала по мукам.

Льговская много читала... «Благотворительницы», заботящиеся об участи падших женщин, обильно снабжали больницу книгами и, кажется, этим заботы их и оканчивались.

Клавдии попалась какая-то книга, очень напомнившая ей содержанием время ее юности, ее чистую первую любовь к Смельскому. И первый раз, под влиянием «теплых слов», Льговская поняла весь бессмысленный ужас своего существования, всю стихийную грязь ее злобы к дорогому, милому художнику!.. Ей стало до безумия жалко себя и осквернения памяти покойного друга... Первый раз в жизни Клавдия заплакала чистыми, омывающими «сумрак» души слезами.

— Наверняка, — шептала Клавдия про себя, — он сгнил теперь совсем, а я вот, живая, гнию еще... «Как ни плоха жизнь, но все-таки лучше мыслить и чувствовать, и предоставить мертвым оплакивать своих мертвецов», — вспомнила Льговская любимую фразу Смельского. — Но не ошибался ли он?

ХП

НА КЛАДБИЩЕ

Думы о Смельском не покидали уже Льговской все последнее время лежания ее в больнице.

— Ну, Клашка, задумалась! — говорили девицы. — Скоро, стало быть, на волю к «мамаше из простокваши» вылетит.

Простоквашей девицы называли все «веселые» переулки.

Действительно, болезнь пряталась в нутро довольно тщательно и быстро. Клавдия была назначена на выписку.

Явившись домой, в свою комнату, и встреченная радостными возгласами товаров, Льговская порядком наугощалась и кутеж продолжала целую ночь, то с одним, то с другим гостем. Мысли о покойном художнике как-то испарились из головы Клавдии, и она с наслаждением вознаградила себя за месячное воздержание и всецело занялась утолением своих дремавших «насильно» в больнице инстинктов.

Но, как после бури наступает тишина, так после страшных оргий Льговская еще сильнее почувствовала опять бессмысленный ужас своей жизни и беспросветного мрака грядущих бедствий.

«Долго ли дойти до такой нищеты нравственной и телесной, — размышляла Клавдия опять рано утром, после первого дня “свободы”, — чтобы просить кавалеров взять ее любовь за бутылку пива!»

Такую комбинацию она слышала в больнице из уст еще не старой, 30-летней проститутки, которой болезнь слегка «контузила» нос!

Вместе с этими печальными истинами, легко могущими доказать свою правдивую силу и осуществимость, с Клавдией снова были неразлучны мечты о смерти и дорогом покойнике.

Льговской страстно и сейчас же захотелось, не отлагая желания на долгие сроки, поехать на Ваганьково кладбище, на одинокую, всеми брошенную и забытую могилу художника. Клавдия упросила «мадам» отпустить ее сходить в город по одному неотложному делу... Содержательница нехотя согласилась отпустить Клавдию, и так принесшую «дому» своей болезнью столько невознаградимых убытков.

— Ви, пожалуйста, — говорила напутственно мамаша вослед уходящей «по делу» Льговской, — вести себя не громко и порядочно, как добрый девочкин, и не позволит себе много выпивать.

Льговская оделась как можно поскромней, чтоб кричащим костюмом не бросаться всем в глаза. Она «занимала» скромность у каждой подруги: у одной темный платок, у другой «обыкновенную» жакетку, у третьей дешевый, простой зонтик.

Развив волосы и смыв тщательно румяна и краску с бровей, Клавдия обратилась вполне в порядочную «даму». Некоторая «ремесленническая» бледность и синева около глаз не могли не «уяснять» опытному взору о вероятной профессии скромной на вид девушки, но опытных, внимательных очей, в общем, так мало, что Льговская смело могла сойти за честную женщину.

Дойдя до Трубы, Клавдия села на конку и доехала до Страстного монастыря, оттуда направилась к памятнику Пушкину и, завоевав себе место на «бульварной» конке, взяла передаточный билет прямо до Ваганькова кладбища.

Клавдия очень редко бывала на этом многолюднейшем по «мертвому народонаселению» московском кладбище. Даже часто бывающему там человеку очень трудно на нем ориентироваться, а посетителю редкому найти какую-либо «близкую» могилу очень затруднительно и почти невозможно, раз она не находится, по счастью, у какого-либо богатого и пышного монумента... Приходится обращаться за помощью в кладбищенскую контору и только тогда набрести на следы когда-то «жившего-бывшего» человека. За особенной подмогой к «начальству покойников» Клавдии обращаться не пришлось: она прекрасно помнила, что Смель-

ский похоронен рядом с писателем Левитовым; ей только нужно было узнать, где находится эта «известная» могила.

Сторожа ей указали и при этом, взглянув друг на друга, обменялись своими соображениями насчет Льговской: «Курфистка какая-нибудь! По отчаянности сразу заметно».

Могила писателей у сторожей спрашивались преимущественно учащейся молодежью обоего пола, и достаточно вам, человеку совершенно постороннему, спросить у них об этих популярных вечных жилищах, чтоб прослыть или «скубентом», или «курфисткой» — смотря по полу.

Клавдия не особенно скоро добрела до могилы Левитова. На каждом шагу ей попадались огромные, кричащие, «купецкие» памятники... Льговская прочла на одном памятнике очень «грамотную» и курьезную надпись: «Здесь лежит торгующий под фирмой, на правах товарищества, московский 1-й гильдии купец такой-то...»

Клавдия едва разобрала смытую дождями и временем черную дощечку-памятку: «Художник Смельский» на простом, деревянном кресте.

Вакханка живо припомнила мельчайшие подробности смерти Смельского и свою беспощадную злобу и обиду по отношению к дорогому трупу. Она припомнила его горячую, хорошую любовь к ней, его ласки и жестоко укоряла себя за грубость и бесчувственность...

«Он мстит мне за это из-за могилы! — подумала Клавдия. — Нет, он был такой добрый и так любил меня!»

Льговская стала на колени перед дорогой могилой и тихо, горько заплакала. Слезы ее текли по щекам и падали на зеленую травку бугорка-могилки и поливали какие-то скромные, прелестные полевые цветы...

«Это чистая душа покойника вырастила их!» — вспомнила Клавдия какую-то легенду о могильных цветах.

Вакханка сорвала один голубенький цветочек и стала безумно его целовать и, как какую-нибудь драгоценность, осторожно приколола его себе на грудь...

— Он будет охранять меня, укажет мне дорогу на честный путь, — сказала Клавдия с чувством и в тот момент искренне. — Я осмелилась предположить, что художник мне

мстит — нет, он хранит меня, как только можно хранить такую грешницу, как я! Мстит мне, я знаю кто! Мстит мне погубленная мною сирота Надя и ее несчастный жених... Как бы хорошо было найти и их могилки и попросить у них прощение за мое безумство! Но разве это возможно: я даже не знаю, где они похоронены!

И чем больше размышляла Клавдия у дорогого креста, тем более и более она убеждалась, что в ней что-то порвалось, что она потеряла заколдованную, связующую ее с пороком цепь... Ей стала невыносима мысль возврата в «дом», обычные занятия... Клавдия сразу хотела освободиться от этого кошмара... Но как? — вот страшный вопрос!..

ХІІІ

У «ЛИБЕРАЛИСТОВ» ЕЛИШКИНЫХ

Бодрой, энергичной походкой Клавдия вышла из ворот кладбища. Могила художника подсказала ей, как дальше *жить*... «Вакханка» бесповоротно решила следовать ее совету... Заходящее солнышко играло своими лучами на золотых куполах и «вершинах» памятников... Казалось, этот свет проникал и к покойникам и грел их белые кости...

— Где мне только переночевать? — мучилась Клавдия.

Денег у нее почти не было... «Знакомых», к которым *теперь* можно было заглянуть, также не имелось...

— Разве к Елишкиным! — соображала она, садясь на конку. — Поеду к ним. Они мне много должны... Может быть, малую часть отдадут...

Супруги были дома. «Сам» занимался составлением ругательного письма к редактору «Спичек»... Его на днях выгнали из недельных обозревателей за вопиющую безграмотность и скуку «пера» и этот отдел «доверили» другому, явному литературному вору, Холопицкому, умевшему ловко «обрабатывать» недоносков-редакторов и чужой материал.

Письмо у «либералиста» не вытанцовывалось и «писатель» был в скверном настроении духа.

Елишкина возилась с детишками, когда пришла к ней *за долгом* Клавдия. «Гимназическая» подруга, имея легкое представление о настоящей «роли» в обществе Клавдии, была очень поражена ее приходом и даже слегка напугана. Однако, она пригласила ее в свою комнату... Доброе *сердце* глупенькой, легкомысленной женщины, засушиваемое различными фарисеями-«радикалистами», не могло не принять своей бывшей подруги, которой оно было так много обязано.

Елишкин услышал о приходе Клавдии и его «воробьиная» натура была до «содержимого» в костях (мозга в них не имелось!) возмущена подобным осквернением его домашнего, священного очага. Не будь он по натуре трусом и

не имей обыкновения нападать на слабых, он сейчас бы показал себя! Но теперь его маленькая, мизерная фигурка, кривой носик, оседланный для шика «пинсню», только могли дышать бессильной злобой...

— Пстой!.. — шептали его бескровные губы. — Я покажу своей дуре, как принимать подобных женщин в моем семейном доме, где бывают Буйноиловы, Мольцовы!

Клавдия написала у подруги какое-то письмо и, краснея от стыда, видя нищенскую обстановку Елишкиных, попросила дать ей, в счет уплаты долга, хоть три рубля.

«Жена писателя» со слезами на глазах призналась, что у них всего капитала два рубля и заложить нечего. Рубль все же дала Елишкина Клавдии.

Льговская, прощаясь, попросила у подруги позволения переночевать у нее одну ночь...

Елишкина согласилась...

Клавдия наняла извозчика на Мясницкую, к декаденту Рекламскому...

— Авось, он дома, — предполагала Клавдия. — А если нет, у меня на всякий случай написана записка. Думаю, что он исполнит мою просьбу... Он, кажется, не хвастун и не врун...

У «жилища» декадента сидел грубый «цербер»-лакей, одетый в какой-то смешной, черный с белым костюм.

— Господин мой дома, но никого три дня принимать не будет, — сказал привратник на вопрос Клавдии. — Они-с пишут-с... Письмо я передам. Если нужен ответ, зайдите завтра рано утром.

Клавдия оставила письмо у лакея и поехала на ночевку к Елишкиным. Но ее не приняли.

Льговской отворил сам «либералист».

— Покорно прошу, — говорил он, захлопывая перед носом Клавдии дверь, — нас оставить в покое, или я принужден буду обратиться к полиции...

XIV

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Униженная и оскорбленная, отошла Клавдия от «подъезда» Елишкиных.

— Что ж! — шептала она про себя, — я должна была знать, кто этот «сочинитель». Спасибо, хоть письмо написала!

— Куда же мне теперь деваться? Домой? — продолжала рассуждать Клавдия. — Это невозможно. Одна мысль меня страшит... Придется отправиться с кем-нибудь, как было прежде, при начале моей теперешней «карьеры»...

Смеркалось. Молодой месяц с опущенными вниз рогами смеялся над землей, но не светил; по крайней мере, света его никто не замечал.

Клавдия шла по Тверской улице, и поклонник у нее скоро нашелся в лице какого-то старичка.

«Седине» Льговская обрадовалась... Молодость теперь не соблазняла ее...

Старичок оказался очень милым, любезным господином...

Он занял приличный номер в доме, выходящем на Страстной бульвар.

Потребовали ужин... И, любуясь все еще красивой Клавдией, старичок напевал вполголоса какой-то веселый мотив.

В номере было пианино.

Старичок спросил, любит ли Клавдия музыку, и, услышав благоприятный ответ, начал играть.

Дрожащие слабые руки плохо нажимали на клавиши, и получался какой-то слабый, бессильный и, вместе с тем, нежный звук...

Подали ужин.

Клавдия с большим удовольствием съела несколько кусочков горячей говядины и порядочно хлебнула красного вина...

Голова у ней кружилась...

Старичок проснулся рано... Номерные часы показывали только семь... Утреннее солнышко приветливо играло на дешевых обоях «комнаты любви», заглядывало в «спальню» и слепило глаза проснувшейся «вакханки».

Прощаясь с Клавдией, старичок дал ей пять рублей, но та их не взяла и попросила только «серебра» на извозчика.

Через полчаса она уже подъезжала к квартире Рекламского.

Тот же «траурный цербер» сидел у подъезда декадента и молча вручил ей ответный пакет. Вне себя от радости, Клавдия хотела было дать «привратнику» на чай, но тот хмуро отказался.

Льговская наняла извозчика на Ваганьково кладбище... «Вакханка» была уверена, что Рекламский точно исполнил ее просьбу...

В нетерпении Клавдия, сидя в «трясучем триндулете», распечатала конверт, и сейчас же из него выпал маленький пакетик. На нем был изображен череп.

Льговская стала читать объяснительное письмо поэта.

Декадент и тут не мог не «выкинуть козла», хотя для этого не было и «тени подходящего настроения»... Письмо Рекламского гласило:

«Объятую уже дыханием нирваны, любовницу роскошную, ее не мог приветствовать вчера я: я творил! Прошу принять мой дар смертельный; зовется морфий он... Я — смерти жрец, я — жрец ее свободы. Мое послание, дабы оно не смело очутиться в руках, не знающих блаженства казни вольной, молю вас — истребите».

Клавдия на мелкие части разорвала «шутовство» декадента и стала поторапливать извозчика.

Приехав на Большую Пресню, ведущую прямо на Ваганьково, извозчик повеселел. Его маленькая, шустрая лошаденка то и дело обгоняла похоронные процессии. Отдающих последний долг так рано хоронимым трупам было немного: около некоторых «мертвецов» не шло никого, кроме носильщиков или факельщиков...

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Клавдия с большим трудом, но без посторонней помощи нашла вновь скромный крест Смельского.

Было великолепное, ясное утро. Ветер куда-то умчался и не хотел своими порывами беспокоить «город мертвых»; он гулял, должно быть, там, где можно было хоть кого-нибудь охладить и обновить своим дуновением. На кладбище ему было нечего делать...

Птички весело чирикали: им среди мертвых было гораздо вольготней, чем среди живых! Их не подстерегала на кладбище опасность. Их никто здесь не трогал. Они пели неумолкаемую хвалу Творцу, славили свой мирный уголок, оживляя своими гимнами бесстрастные, вечные «жилища» покойников. В их чириканье порой врываются свист локомотива и стук поезда, идущего по полотну прилегающей к «Ваганькову» линии Московско-Брестской дороги. Иногда птички перелетали из известного места и издали следили, когда уйдут собравшиеся вокруг свежей или старой могилы люди. По опыту они знали, что им, после окончания стройного человеческого пения, громкого рыдания, обязательно перепадет что-нибудь из съестного. Иногда и не оставляют ничего злые люди, и птички напрасно сторожат их уход; но они за это не сердятся.

Птички заметили и Клавдию; зоркие их глазки усмотрели у ней в руках что-то белое, которое она, войдя на кладбище, вынула из кармана.

Душа Клавдии была спокойна. Льговская как будто бы спала наяву, тихо, безмятежно, как спит последнюю ночь преступник, приговоренный к смертной казни. Вместо сновидений, Клавдию окружали воспоминания. Она ясно представила себе всю свою «смутную» жизнь с самого начала. Как вдумчивый летописец, Льговская бесстрастно разбирала все свои волнения, все обиды, нанесенные ей людьми, и все, что казалось ей теперь таким мелким, таким ничтож-

ным, не стоящим никакого внимания, не только что гнева и злобы... Вся жизнь прошла как-то мгновенно, но сколько в этом мгновении было пустого, ложного, ошибочного!

Одну только свою первую, страстную, хорошую любовь к Смельскому Клавдия считала недостижимым совершенством своего существования.

Редко простым смертным приходится пережить такое блаженство...

А раз они его испытали, они не смеют, они не могут сказать, что они задаром прожили.

Любовь, основанная на взаимном обладании друг другом, когда люди забывают весь мир в своих молодых, сильных объятиях, бывает редко.

В нее не врываются ни обычный, пошлый расчет, ни думы о будущем устройстве буржуйного семейного счастья, ни желание иметь детей, вообще ничего, ничего обыкновенного, житейского...

Клавдия была одна из счастливиц, видевших «дыхание» этого солнышка...

Она была согрета его ласками в самую светлую пору юности, когда и более низменные чувства бывают свежи и девственны...

Льговская любила и на ее руках угасал ее первый любовник, никогда и никому до нее не принадлежавший. Она жила с ним по примеру богов.

Никто из людей не мог подойти к их любви. Одна смерть посмела уничтожить их союз! Одна смерть разбила прекрасные иллюзии, волшебную сказку!

Художник был гораздо счастливее Клавдии: он умер с сознанием, что его любят, бескорыстно, безумно любят...

А что может быть лучше и божественнее этого эгоистического сознания?!..

Чистоту свою и чистоту своей первой любовницы художник унес в могилу...

Клавдии в наследство после него досталась «кошмарная» жизнь.

Стихийная злоба на несправедливость судьбы овладела девушкой...

Унижением своей личности, развратом она пыталась было смягчить ужас одиночества, уверить себя, что любовь ее к «неблагодарному, рано бросившему ее художнику» была — абсурд, что ее можно было забыть! Забыть, но надолго ли?

Нет, никогда не забывается светлое, юношеское, страстное чувство!..

Его можно по временам топить в вине, но, рано или поздно, оно выплывет снова.

Его можно грязнить, пытаясь распутством усыпить его бессмертное дыхание, но и в этой смрадной могиле оно будет жить.

Никто и ничто не в состоянии смягчить воспоминания о первом трепете на девственной груди первой благородной страсти.

Ни один огонь не в силах выжечь из сердца знаки этой благородной печати.

Любовь — стихия, а враги — ничтожные бактерии, невидимые даже в хороший, усовершенствованный микроскоп.

Такие враги и поселились в Клавдии со дня смерти Смельского. Их было очень много: злоба, чувственность, разврат, болезнь...

И что же сделало общее усилие этих врагов?

Оно постепенно привело Клавдию к могиле ее первой божественной любви...

Льговская поняла, что жить она больше не может, не желает, не смеет.

Могила околдовала ее, приковала своими крепкими мистическими цепями... А порвать их власть потщится разве один безумец!

Могила первой, юной любви всегда будет стоять перед глазами...

Она будет неразлучной тенью...

Все будет казаться мраком, никакие волшебства не могут освободиться от ее «взора».

Она засушит, медленно замучает, лишит сна и во все подольет отраву...

Благородная, изысканная душа не перенесет этого, а не-

благородной нечего этих мук бояться: она никогда не испытает чувства «стихийной» любви.

Любовь не создана для плебеев.

Она отворачивается также и от безобразия.

Любовники должны быть красивы и прекрасны.

Даже в обыденной, пошлой жизни смеются над страстью тех лиц, уродство которых понимают даже лошади извозчиков и пугаются.

Любовь — красота. Красота — любовь.

«Милый, дорогой мой! — шептала Клавдия, целуя могилу художника. — Хоть поздно, но я пришла к тебе, в твоё гнездышко... Прости, прости меня!.. Я не знала, что я делала. Жизнь моя без тебя была сон непробудный, тяжелый! Теперь я очнулась и не расстанусь с тобой!..»

Горячие, искренние слезы вновь потекли на могилу Смельского, окропляя траву и цветочки. Некоторые слезинки попадали на такие зеленые былинки, которые не хотели с ними расставаться. Они, как капли чистой росы, блестели на солнце, переливаясь всеми цветами радуги...

Ни одно пошлое, житейское желание не беспокоило обновленную душу Клавдии. Она даже забыла, что с ней нет воды, что *так* яд принимать не особенно удобно...

О всем, о всем забыла «вакханка»!..

Она помнила только одно, что ей нужно делать...

Машинально она развернула подарок Рекламского. Яда было слишком много, но Льговская приняла его весь... Через четверть часа морфий стал уже действовать. Клавдию так и клонило ко сну...

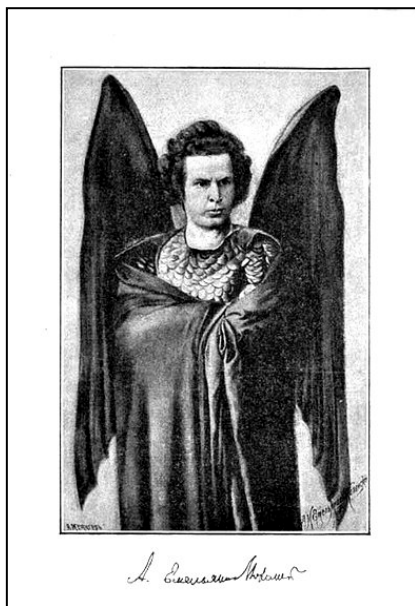
Она обняла, как живое существо, нежно, крепко, угол «зеленого» могильного бугорка...

И предсмертным «зрительным ощущением» «вакханки» были крест художника и голубое, беспредельное, всепрощающее небо.

Клавдия отдала свой последний вздох могиле того, *кто* открыл ей тайну первых чистых наслаждений...

ПРИМЕЧАНИЯ

Поэт, беллетрист и переводчик Александр Николаевич Емельянов-Коханский (1871-1936) родился в Москве в обедневшей дворянской семье. С начала 1890-х гг. публиковался в юмористических журн. *Развлечение*, *Будильник*, *Осколки*, *Искры* и др., выступал как переводчик с немецкого и французского (в частности, перевел *По ту сторону добра и зла* Ф. Ницше), писал тексты и музыку «цыганских» романсов, служил кассиром на бегах, агентом похоронного бюро. Сблизившись с молодым В. Я. Брюсовым, участвовал в его сборниках *Русские символисты*. В 1895 г. прогремел кн. ультра-декадентских стихов *Обнаженные нервы*, выпущенной на

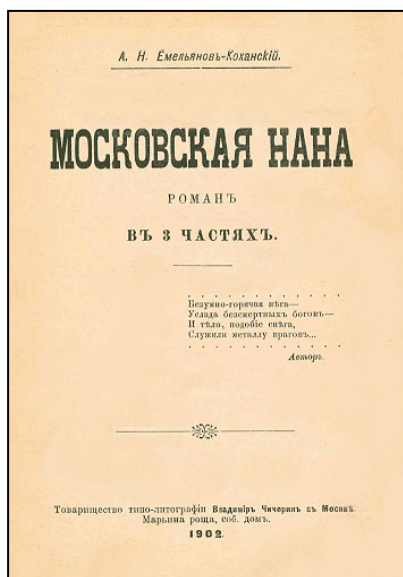


*Портрет А. Н. Емельянова-Коханского в виде оперного Демона
из кн. «Обнаженные нервы»*

розовой бумаге с посвящением «мне и египетской царице Клеопатре» и стал первым русским поэтом, открыто назвавшим себя декадентом. Книга подверглась резким нападкам в печати; внос-

ледствии Емельянов-Коханский называл ее мистификацией и пародией на декадентство. Кн. *Убийцы убийцы*, сборники *Юная красота* и *Шепот Сатаны* были в 1896-97 гг. запрещены цензурой.

В 1900-х гг. Емельянов-Коханский выпустил ряд небольших книг стихов и рассказов, кн. *Борьба и любовь: Жизнь и произведения Ады Негри* (1900), романы *Московская Нана* (1902) и *Тверской бульвар* (1904), редактировал бульварные журналы *Шутенок* и *Венера*. После 1917 г. отошел от литературной деятельности, занимался подбором иллюстрация для газет и журналов и, по свидетельству биографов, в последние годы жизни страдал психическим расстройством.



Первое издание романа *Московская Нана* (М.: Товарищество типо-лит. В. Чичерин, 1902) было запрещено цензурой. В последующих изданиях автор подверг роман существенной переработке: из книги изымались эротические сцены и слишком «рискованные» описания, были переписаны и заменены целые главы.

В настоящем издании роман публикуется по первому изданию 1902 г. В тексте исправлены очевидные опечатки, орфография и пунктуация приближены к современным нормам. В оформлении обложки использована работа Э. Шиле.

ТЁМНЫЕ СПАСЕНИЯ



SALAMANDRA P.V.V.

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.